

Петр Дмитриевич Боборыкин

Василий Теркин



Петр Боборыкин
Василий Теркин

«Public Domain»

1882

Боборыкин П. Д.

Василий Теркин / П. Д. Боборыкин — «Public Domain», 1882

«Василий Теркин» – попытка нарисовать нового человека деревни, вышедшего в люди благодаря собственным усилиям и сумевшего сочетать деловитый практицизм с преданностью идеалам.

Содержание

Часть первая	5
Конец ознакомительного фрагмента.	75

Петр Дмитриевич Боборыкин Василий Теркин

Часть первая

I

Засвежело на палубе после жаркого июльского дня. Пароход «Бирюч» опасливо пробирался по узкому фарватеру между значками и шестами, вымазанными в белую и красную краску.

На верху рубки, под навесом, лоцман и его подручный вглядывались в извороты фарватера и то и дело вертели колесо руля. Справа и слева шли невысокие берега верховьев Волги пред впадением в нее Оки. Было это за несколько верст до города Балахны, где правый берег начинает подниматься, но не доходит и до одной трети крутизны прибрежных высот Оки под Нижним.

Лоцман сделал знак матросу, стоявшему по левую руку, у завозного якоря, на носовой палубе. Спина матроса, в пестрой вязаной фуфайке, резко выделялась на куске синевшего неба.

– Пять с половино-ой! – уныло раздалось с носа, и шест замахал в руках широкоплечего парня.

Помощник капитана, сухощавый брюнетик, в кожаном картузе, приложился губами к отверстию звуковой трубы и велел убавить ходу.

Пароход стал ползти. Замедленные колеса шлепали по воде, и их шум гулко отдавался во всем корпусе, производя легкий трепет, ощутимый и пассажирами.

Пассажиров было много, – все больше промысловый народ, стекавшийся к Макарию, на ярмарку.

Обе половины палубы, и передняя и задняя, ломились под грузом всякого товара. Разнообразные запахи издавал он. Но все покрывалось запахом стр.8 кожаных изделий со смесью чего-то сладкого, в больших ящиках с клеймами. Отдавало и горячим салом. Пассажиры второго класса давно уже чайничали у столиков, на скамейках, даже на полу, около самой машины. Волжский звонкий говор, с ударением на «о», ходил по всему пароходу, и женские голоса переплетались с мужскими, еще певучее, с более характерным крестьянским /оканьем. «Чистая» публика разбрелась по разным углам. Два барина, пожилые, франтоватые, в светлых пиджаках, расселись наверху, с боку от рулевого колеса. Там же, подставляя под ветерок овал побледневшего лица, пепельная блондинка куталась в оренбургский платок и бойко разговаривала с хмурым офицером-армейцем. В рубке купец, совсем желтый в лице, тихо и томительно пил чай с обрюзгой, еще молодой женой; на кормовой палубе первого класса, вдоль скамеек борта, размещалось человек больше двадцати, почти все мужчины. Подросток гимназист, в фуражке реалиста и в темной блузе, ходил взад и вперед возбужденной широкой походкой и курил, громко выпуская клубы дыма.

– Пя-я-ть! – протянулся опять заунывный крик матроса, и пароход еще убавил ходу, но не остановился.

«Бирюч» сидел в воде всего четыре фута; ему оставался еще один, чтобы не застрять на перекате. Это не вызывало особого беспокойства ни в пассажирах, ни в капитане.

Капитан только что собрался пить чай и сдал команду помощнику. Он поднялся из общей каюты первого класса, постоял в дверях рубки и потом оглянулся вправо на пассажиров, ища кого-то глазами.

Плечистый, рослый, краснощекий, ярко-русый, немного веснушчатый, он смотрел истым волжским судопромышленником, носил фуражку из синего сукна с ремнем, без всякого галуна, большие смазные сапоги и короткую коричневую визитку. Широкое, сочное, точно наливное лицо его почти всегда улыбалось спокойно и чуточку насмешливо. Эта улыбка проглядывала и в желто-карих, небольших, простонародных глазах.

– Борис Петрович! – крикнул он с порога двери.

– Что вам, голубчик?

Откликнулся грудной нотой пассажир, старше его, лет за сорок, в люстриновом балахоне и мягкой шляпе, стр.9 худощавый, с седеющей бородкой и утомленным лицом. Его можно было принять за кого угодно – за мелкого чиновника, торговца или небогатого помещика. Что-то, однако, в манере взглядываться и в общей посадке тела отзывалось не провинцией.

– Чайку? – спросил капитан.

– Я готов.

– Так я сейчас велю заварить. Илья! – остановил он проходившего мимо лакея. – Собери-ка чаю!.. Ко мне!.. Борис Петрович, вы как прикажете, с архиерейскими сливками?

Пассажир в балахоне поморщился, точно его что укусило, и махнул рукой.

– Нет, голубчик, спиртного не нужно.

– Воля ваша!..

Они проходили по узкому месту палубы, между рубкой и левым кожухом. Колеса шлепали все реже, и с носа раздавалось без перерыва выкрикивание футов.

В рубке первого класса, кроме комнатки, где купец с женой пили чай, помещалась довольно просторная каюта, откуда вышел еще пассажир и окликнул тотчас же капитана, но тот не услышал сразу своего имени.

– Андрей Фомич! – повторил пассажир и пошел вслед за ним.

Слово «Андрей» выговорил он чуть-чуть звуком о вместо а. И слово «Фомич» отзывалось волжским говором.

Он был такого же видного роста, как и капитан Кузьмичев, но гораздо тоньше в стане и помоложе в лице. Смотрел он скорее богатым купцом, чем барином, а то так хозяином парохода, инженером, фабрикантом, вообще деловым человеком, хорошо одевался и держал голову немного назад, что делало его выше ростом. На клетчатом темном пиджаке, застегнутом доверху, лежала толстая золотая цепь от бокового кармана до петли. Большую голову покрывала поярковая шапочка вроде венгерской. Из-под нее темно– русые волосы вились на висках; борода была белокурее, с рыжиной, двумя клиньями, старательно подстриженная. В крупных чертах привлекательного крестьянского лица сидело сложное выражение. Глаза, с широким разрезом, совсем темные, уходили в толстоватые веки, брови легли правильной и густой дугой, нос утолщался книзу, и из-под усов глядел красный, сочный рот с чувственной линией нижней губы.

Во второй раз он окликнул капитана звучным голосом, в котором было гораздо больше чего-то юношеского, чем в фигуре и лице мужчины лет тридцати.

– А! Василий Иванович! Что прикажете?

Капитан оставил тотчас же руку того, кого он звал Борисом Петровичем, и подошел, приложившись рукой к козырьку.

В этом поклоне, сквозь усмешку глаз, проходило нечто особенное. В красивом пассажире чувствовался если не начальник, то кто-то с влиянием по пароходному делу.

– Как бы нам не есть? – сказал он вполголоса.

– Бог милует! – вслух ответил капитан.

– Вы что же? За чаек приниматься думаете, а потом небось и на боковую, до Нижнего?

– Да, грешным делом.

В вопросах не слышалось начальнического тона; однако что-то как бы деловое.

Большие глаза Василия Ивановича остановились на пассажире в люстриновом балахоне.

– С кем вы это? – еще тише спросил он капитана.

– Вон тот?

– Да, бородку-то шиплет!

– Вы нешто не признали?

– Нет.

– И портретов его не видали?

– Стало, именитый человек?

– Еще бы! Да это Борис Петрович...

И он назвал имя известного писателя.

– Быть не может!

Василий Иванович снял шляпу и весь вострепнулся.

– Мы с ним давно хлеб-соль водили. Он меня еще студентом помнит.

– Как же это вы, батенька, ничего не скажете!.. Я валяюсь в каюте... и не знаю, что едет с нами Борис Петрович!

– Да ведь вы и на пароход-то сели, Василий Иванович, перед самым обедом. Мне невдомек. Желаете познакомиться?

– Еще бы! Он – мой любимый! Я им, можно сказать, зачитывался еще с третьего класса гимназии.

Глаза красивого пассажира все темнели. У него была необычная подвижность зрачков. Весь он пришел в возбуждение от встречи со своим любимым писателем и от возможности побеседовать с ним вдосталь.

– Василий Иванович Теркин, – назвал его капитан, подводя к Борису Петровичу, – на линии пайщика нашего товарищества.

II

Они сели поодаль от других, ближе к корме; капитан ушел заваривать чай.

Разговор их затянулся.

– Борис Петрович, – говорил минут через пять Теркин, с ласкою в звуках голоса. – За что я вас люблю и почитаю, это за то, что вы не боитесь правду показывать о мужике... о темном людье вообще.

Он все еще волновался и, обыкновенно очень речистый, искал слов. Его не смущало то, что он беседует с таким известным человеком; да и весь тон, все обращение Бориса Петровича были донельзя просты и скромны. Волнение его шло совсем из другого источника. Ему страстно захотелось излиться.

– Ведь я сам крестьянский сын, – сказал он без рисовки, даже опустил ресницы, – приемыш. Отец-то мой, Иван Прокофьев Теркин, – из села Кладенец. Мы стояли там, так около вечера. Изволите помнить?

– Как же, как же! Старинное село. И раскольничья молельня есть, кажется?

– То самое... Может, и отца моего встречали. Он с господами литераторами водился. О нем и корреспонденции бывали в газетах. Ответил-таки старина за свою правоту. Смутьяном прославили. По седьмому десятку в ссылку угодил по приговору сельского общества.

Добрые и утомленные глаза писателя оживились.

– Помню, помню. Читал что-то.

– Теперь он около Нижнего на погосте лежит. Потому-то вот, Борис Петрович, и радуюсь я, когда такой человек, как вы, правду говорит про мужицкую душу и про все, во что теперь народ ударился. Я ведь довольно с ним возжался и всякую его тяготу знаю и, должно полагать, весь свой век скоротаю вокруг него. И все-таки я не согласен медом его обмазывать. Точно

так же и всякие эти барские затеи... себя на мужицкий лад переделывать – считаю вредным вздором.

Лицо Теркина сразу стало жестче, и углы рта сложились в едкую усмешку.

– Затей эти все лучше кулачества, – уныло выговорил писатель.

– Этим ни себя, ни мужика не подымешь, Борис Петрович, вы это прекрасно должны понимать. Позвольте к вашим сочинениям обратиться. Всюду осатанелость забралась в мужика, распутство, алчность, измена земле, пашне, лесу, лугу, реке, всему, чем душа крестьянская жива есть. И сколько я ни перебирал моим убогим умишком, просто не вижу спасения ни в чем. Разве в одном только...

Он не договорил, оглянулся на плес реки, на засиневшие в вечерней заре берега и продолжал еще горячее:

– Вот она. Волга-то матушка! Порадуйтесь! До чего мы ее довели!.. По такому-то месту... сорока верст не будет до устья... По-моему, – сказал он в скобках, не Ока впадает в Волгу, а наоборот. И слышите, пять футов, а то и три с четвертью, не угодно ли? Может, через десять минут и совсем сядем на перекате. Я ведь сам коренной волжанин. С детства у меня к воде, к разливам влечение. К лесу тоже. А что мы из того и из другого сделали? И мужицкое-то сердце одеревенело. Жги, вырубай, мелей... ни на что отклика нет в нем. Да и сам-то, против воли, помогаешь хищению.

Писатель поднял на него глаза и усмехнулся.

– Андрей Фомич вам меня кандидатом в пайщики отрекомендовал. Это точно. Собираюсь судохозяином быть. Значит, буду, хоть и косвенно, помогать лесоистреблению. Ха-ха!.. Такая линия вышла. Нашему брату, промысловому человеку, нельзя себе карьеру выбирать, как папенька с маменькой для гоголевского Фемистоклюса. Дипломатом, мол, будет!..

– Вы в товарищество поступаете... вот в это самое? – спросил Борис Петрович.

– В это самое, только еще денжат надо некоторое количество раздобыть...

Теркин опять перебил себя.

Разговор влек его в разные стороны. В свои денежные дела и расчеты он не хотел входить. Но не мог все-таки не вернуться к Волге, к самому родному, что у него было на свете.

– Судохозяином заправским станешь, Борис Петрович, – продолжал он так же возбужденно, – и начнутся муки мученские. Вот в Нижний коли придем не больно поздно, увидите – целый флот выстроился у Телячьего Брода. Ходу нет этим пароходам, вверх-то по реке. И с каждым летом все горше и горше. А господа набольшие... ученые путейцы... только государственные ассигнации всаживают в зыбучие перекаты. Будем вечером подходить к Нижнему, извольте полюбоваться на путейскую «плешь» – так ведь их запруды зовут здесь. Перегородили без ума, без разума реку – и порог днепровский устроили; через него ни одна расшива перескочить не может. А ухлопали, слышно, триста тысяч!

И, точно испугавшись, что его главная мысль улетит, он подсел ближе к своему собеседнику, даже взялся рукой за полу его люстринового балахона и заговорил тише звуком, но быстрее.

– Где спасенье мужика? Коли не в какой-нибудь особой вере... знаете, такой, чтобы самую-то суть его забирала, – так я и ума не приложу, в чем? Только ведь у сектантов и есть еще мирская правда, крепость слову, стоят друг за друга. И в евангельских толках то же самое, и даже у изуверов раскольников, хотя и у них уже многое дрогнуло, особенно по здешним местам. Без запрета, без правила... знаете, вот как у татар, в алкоране, – не будет ничего держаться. А с нищетой да с пропойством что вы устроите? Сначала надо, чтобы копейка была на черный день, для своего и для мирского дела; а накопить ее можно только, когда закон есть твердый во всяком поступке и в каждом слове.

– Копейка! – повторил со вздохом Борис Петрович, характерно наморщив одну бровь, и дернул бородку. – Насмотрелся я, голубчик, на юге, в новороссийских степях, на скопидом-

ство. И у сектантов, и у православных. Ломятся скирды, гумны-то – на целой десятина, везде паровые молотилки, жнеи! Хозяева-то идола какие-то. Деньжищ! Хлеба! Овец!.. И все это мертвечина! – Глаза писателя уныло и мечтательно смотрели вдаль, ища волнистого следа, который шел от парохода. – У наших, у здешних, по крайней мере, на душе-то нет-нет да и заиграет что-то. Церквушку поставить. Лампадку засветить. Не зарылся, как те, идола, в свою кубышку!

Голос его упал, и он, нагнувши голову, стал искать в боковом кармане папиросницу.

Теркину сначала не хотелось возражать. Он уже чувствовал себя под обаянием этого милого человека с его задумчивым голосом и страдательным выражением худого лица. Еще немного, и он сам впадет, пожалуй, в другой тон, размякнет на особый лад, будет жалеть мужика не так, как следует.

– Церквушка! Лампадка! – вырвалось у него. Эх, Борис Петрович! Нет у него никакой веры. А о пастырях лучше не будем и говорить.

Он махнул рукой.

– Да у него своя вера. Поп сам по себе, а народ сам по себе.

– В том-то и беда, Борис Петрович, что православное-то христианство в каком-то двоеверии обретается. И каждый из нас, кто сызмальства в деревне посмотрелся на все, ежели он только не олух был, ничего кроме скверных чувств не вынес. Где же тут о каком-нибудь руководстве совести толковать?

Теркин опять махнул рукой.

– Все это верно, голубчик, – еще тише сказал писатель. – И осатанелость крестьянской души, как вы отлично назвали, пойдет все дальше. Купон выел душу нашего городского обывателя, и зараза эта расплзется по всей земле. Должно быть, таков ход истории. Это называется дифференциацией.

– Читывал и я, Борис Петрович, про эту самую дифференциацию. Но до купона-то мужику – ох, как далеко! От нищенства и пропойства надо ему уйти первым делом, и не встанет он нигде на ноги, коли не будет у него своего закона, который бы все его крестьянское естество захватывал.

– Вы и тут правы, – выговорил писатель, и обе брови его поднялись и придали лицу еще более нервное выражение.

III

– Борис Петрович! – раздался громкий голос капитана из-за рубки. – Чай простынет, пожалуйста!

Он подошел к ним.

– Заговорились? А вы, Василий Иванович, не откушаете?

– Я только что пил.

– Пожалуйте, Борис Петрович! Мне, грешным делом, соснуть маленько хочется. В Нижнем-то надо на ногах быть до поздней ночи. Вы ведь до Нижнего?

– Да, голубчик, там погощу денька два-три у одного приятеля и в Москву по чугунке.

– Так пожалуйста!

– Сейчас, Андрей Фомич, – отозвался Теркин. – Эх, приспичило. В кои-то веки привелось мне встретить Бориса Петровича, и разговор у нас такой зашел, а вы с вашим чаем!..

– Сию минутку, – просительно выговорил писатель. – Налейте мне стаканчик. Я люблю холодный. И лимону кусочек.

– Ладно, ладно.

Капитан скрылся за рубкой. Они немного помолчали, и Теркин заговорил первый.

– Хороший парень Андрей-то Фомич! Жаль, что на таком дрянном суденышке ходит, как этот «Бирюч». И глянь-ка, сколько товару наворотил. Хорошая искра попади вон в те тюки – из нас одно жаркое будет.

– Что вы? – тревожнее спросил Борис Петрович.

– Обязательно! Немножко с ленцой, Кузьмичев-то, а толковый. Ежели я, со своим парходом, в их товарищество поступлю, он может ко мне угодить. Мы его тогда маленько подтянем, – прибавил Теркин и подмигнул. – Вам его история известна?

– Как же!

– Где-то я читал, что московский старец, Михаил Петрович Погодин, любил говорить и писать: «так, мол, русская печь печет». Студент медицины... потом угодил как-то в не столь отдаленные места, затем сделался аптекарским гез/елем. А потом глядь – и капитан, по Волге бегаёт!

Он подметил взгляд писателя, когда произносил имя Погодина и делал цитату из его изречений. В этом взгляде был вопрос: какого, в сущности, образования мог быть его собеседник.

– Вот ведь и ваш покорный слуга – на линии теперь судохозяина, а чем не перебивал? И к чему готовился? Попал в словесники, классическую муштру проходил.

– Вы-то?

– А то как же! Приемный-то отец мой от своих скудных достатков в гимназии меня держал. Ну, урочишки были. И всю греческую и латинскую премудрость прошел я до шестого класса, откуда и был выключен...

– Исключили? За что?

– Долго рассказывать. А для вас, как для изобразителя правды... занятно было бы. Да Андрей Фомич, поди, совсем истерзался?..

– Вы бы пошли с нами посидеть.

– Каютишка-то у него всего на полтора человека. А я – мужик крупный. Я подожду здесь, на прохладе. И без того безмерно доволен, Борис Петрович, что привелось с вами покалякать.

Из-за рубки показалась опять дюжая фигура капитана.

– Пожалуйте! Борис Петрович!

– Иду, иду!

Писатель заторопился, но успел подать Теркину руку и еще раз пригласил его.

– Нет, уж вы там вдвоем благодумствуйте. Места нет, да я и плохой чаепийца, даром что нас водохлебами зовут.

Его тянуло за Борисом Петровичем, но он счел бестактным нарушать их беседу вдвоем. Ни за что не хотел бы он показаться навязчивым. В нем всегда говорило горделивое чувство. Этого пистоя он сердечно любил и увлекался им долго, но «лебезить» ни перед кем не желал, особенно при третьем лице, хотя бы и при таком хорошем малом, как Кузьмичев. Через несколько недель капитан мог стать его подчиненным.

Теркин прошелся по палубе и сел у другого борта, откуда ему видна была группа из красивой блондинки и офицера, сбоку от рулевого. Пароход шел поскорее. Крики матроса прекратились, на мачту подняли цветной фонарь, разговоры стали гудеть явственнее в тишине вечернего воздуха. Больше версты «Бирюч» не встречал и не обгонял ни одного парохода.

Все та же родная река тянулась перед ним, как будто и богатая водой, а на деле с каждым днем страшно мелеющая, Теркин не рисовался в разговоре с Борисом Петровичем. У него щемит в груди, когда он думает о том, что может статься с великой русской рекой через десять, много двадцать лет. Это чувство, как и жалость к лесу, даже растет в нем, – нужды нет, что он «на линии» пароходчика. Отопление мечтает он завести у себя нефтяное. Нефти еще целая уйма, хоть и с ней обходятся хищнически, как со всем, что только можно обращать в деньги.

И досада начала разбирать его на то, что капитан помешал их разговору, да и сам он не так направил беседу с Борисом Петровичем. Ему хотелось поисповедоваться, раскрыть душу не по одному вопросу о крестьянстве, показать себя в настоящем свете, без прикрасы, выслушать, быть может, и приговор себе. А так он мог показаться хвастуном, «рисовальщиком», как он называл всех, кто чем-нибудь рисуется. Все, что он про себя сказал, была правда. Да, он мужицкого рода, настоящий крестьянский сын, подкидыш, взятый в дом к «смутьяну», Ивану Прокофьеву Теркину, бывшему крепостному графов Роциных, владельцев половины села Кладенца.

А почему же он, три часа назад, когда останавливались у Кладенца, даже и с палубы не сошел? Должно быть, сердце-то у него не екнуло при виде красивого села, на нескольких холмах, с его церквами и монастырем, с древним валом, где когда-то, еще при татарах, был княжеский стол? Он в это время лежал на диване своей каюты, предоставленной ему от товарищества, как будущему пайщику, и только сквозь узкие окна видел полосу берега, народ на пристани, два-три дома на подъеме в гору, часть рядов с «галдарейками», все – знакомое ему больше двадцати пяти лет.

Да, его не потянуло и на палубу. Он не любит своего села и давно не любил, с той самой поры, как стал понимать, что вокруг него делается. Своего названного отца он считал «праведником», – нужды нет, что местные вожаки, которые потрафляли неосмысленной «голытьбе» и спаивали ее, обзывали Ивана Теркина кулаком, сторонником скупщиков и врагом мира. Он до сих пор не может простить этому миру ссылки своего отца, – тому стукнуло тогда шестьдесят два года, – по приговору сельского общества, самого гнусного дела, какое только он видел на своем веку; и на него пошли мужики! И пошли на такое дело небось не раскольники, живущие в Кладенце особым обществом, также бывшие крепостные другого барина, а православные хресьяне, те самые, что ставят пудовые свечи и певчих содержат на мирские деньги, нужды нет, что половина их впроголодь живет. Не заедет он по доброй воле в Кладенец, и сделайся он миллионщиком, ни алтына не даст на нужды мира тому сельскому обществу, что собирает сходки в старинном барском флигеле, до сих пор известном под прозвищем «графского приказа».

С личностью названного отца, Ивана Прокофьева, в его памяти сплетена другая личность, сына почтмейстера, – в Кладенце есть контора, – положившего всю свою душу в дело этой самой «голытепы», которая ссылала Ивана Прокофьева. Он скорбел о скудости заработка кустарей, собирал их, вдальблывал в их мозги, как хорошо было бы им завести товарищество и артель, писал в газетах, ездил в Петербург, просил у высшего начальства субсидии, добился ее, сам сочинял устав и целых два года изнывал на этом деле, перебивался с хлеба на квас. И чем все это завершилось? Да его же обвинили, заподозрили, держали взаперти, сослали, – и хоть бы один из бывших членов правления, которые потом разграбили кассу, постоял за него!..

Лицо Теркина заметно хмурилось, и глаза темнели. Старая обида на крестьянский мир села Кладенца забурлила в нем. Еще удивительно, как он мог в таком тоне говорить с Борисом Петровичем о мужицкой душе вообще. И всякий раз, как он нападет на эти думы, ему ничуть не стыдно того, что он пошел по деловой части, что ему страстно хочется быть при большом капитале, ворочать вот на этой самой Волге миллионным делом.

IV

Звонкий женский смех молодой нотой скатился сверху от рулевого колеса.

Теркин поднял голову.

Блондинка обернулась лицом к кормовой половине парохода, и ее профиль, в тени вязаного пухового платка, точно изваянный на сероватом фоне, встал над ним.

– Глупости какие! – проговорила она вздрагивающим голосом.

Стан ее заколыхался от смеха. Она осталась сидеть вполоборота и первая пристально оглядела Теркина со своей вышки.

Ее лицо нашел он миловидным и очень знакомым по типу. Наверное, она откуда-нибудь с Волги же родом, скорее сверху, из Ярославля, Костромы, Кинешмы; какая-нибудь обывательская дочь, бабенка или девушка; много-много – молоденькая жена станового, акцизного или пароходского служащего, едет на ярмарку повеселиться, к мужу, или одна урвалась. Может быть, из воспитанных, потому что держит себя без купеческой чопорности, даже весьма развязно, так что ее примут, пожалуй, и за особу, склонную к приключениям.

Ее возглас: «глупости какие!» отвлек его сразу совсем к другим чувствам и образам. Как похоже произнесла она этот звук «глупости», такими же вздрагивающими грудными нотами! Может, и поет она таким же низковатым голосом? И в чертах лица есть что-то общее, – только у нее пепельного цвета плоские волосы, растрепанные теперь от ветерка, поднявшегося на палубе к вечеру, а у той – как смоль черные и слегка волнистые. И стан как будто похож, сколько можно было видеть снизу, и рост также.

Та теперь ждет. В Нижнем должна лежать депеша «до востребования», на телеграфе, где помещается и гостиница напротив Софроньевской пристани. Теркин сегодня же остановится там для ночевки и проживет, сколько нужно будет для дела. Но его влечет, собственно, туда, книзу, – за Казань.

Вот если бы разговору его с Борисом Петровичем не помешали, он, быть может, сам повинился бы ему в своих «окаянствах».

Тянет его к этой женщине не то что как истого распутника или хищного зверя, но и не так, чтобы Борис Петрович его похвалил, при всей своей доброте и терпимости. В том-то и беда, что не может он всеми страстями своими править, как хороший кучер тройкой ретивых лошадей. Расчет у него всегда сидит в голове, но не всегда берет верх. Положим, и на женщину он давно смотреть стал как бы по-охотничьи, да и невысокого о ней вообще мнения, – в этом, быть может, мужик сказался, – ловить себя он не даст, да и застраховать себя от ее чар не в состоянии. Не одной красотой смущала его вообще женщина, с ранних лет, еще когда школьником был, по шестнадцатому году, – а какою-то потребностью сойтись, в нее заглянуть, вызвать преклонение перед собою, видеть, как в какой-нибудь несмышленной или робкой немудрой девочке вдруг распухнет душа, откуда ни возьмутся ум, игра, смелость, дерзкая отвага. На все она пойдет с любимым человеком и для него. В такие минуты только и сознаешь свою мужскую мощь, особенно когда есть вера и в свой деловой ум, когда ты все шибче и шибче катишься по житейской дороге. Только не плошай, быть тебе с большим выигрышем.

Во всем этом он способен был повиниться Борису Петровичу, если бы разговор принял такой оборот. И спроси его тот: «Почему же вы не хотите послужить меньшей братии? Зачем стремитесь так к денежной силе?» – он не стал бы лгать, не начал бы уверять его, что так он живет до поры до времени, что это только средство служить народу.

Нет, он любит успех сам по себе, он жить не может без сознания того, что такие люди, как он, должны идти в гору и в денежных делах, и в любви.

Теркин поднял опять голову; блондинка все еще смотрела на него, продолжая переговариваться с офицером. Он улыбнулся ей глазами и тотчас же отвел их. Мелкое волокитство он презирал, как все, что слишком легко дается.

Он заходил взад и вперед по носовой палубе, где сидели пассажиры второго класса, боролся с своим желанием заглянуть в капитанскую каюту, поговорить еще с писателем.

«Кузьмичев уже завалился спать, – успокаивал он себя, – да и Борис Петрович также».

Раздалось опять заунывное выкрикивание.

– Четыре-е! – протянул матрос.

«Сядем», – подумал Теркин и взглянул на верх рубки. Там, у звуковой трубы, стоял помощник.

«Посадит он нас, как пить даст, – продолжал он думать с хозяйским чувством некоторого раздражения, – мечется, а толку нет».

Пароход действительно вздрогнул и стал. Грузные колеса побарахтались немного, потом раздалась команда: «стоп!»

– Сидим! – громко сказал Теркин, но уже более не волновался и присел у самого носа поглядеть, как помощник справится с перекатом.

Лоцман с подручным еще повертели колесо вправо и влево и о чем-то перекинулись словами с помощником капитана.

Тот заставлял проделывать быстрые движения взад и вперед, то на полных парах, то полегче. Пароход немножко подавался взад, вперед, вбок, но с места не сходил.

Публика наверху продолжала сидеть и не выказывала заметного беспокойства. Между пассажирами попроще пошел более оживленный говор, но если бы не знать, что пароход действительно врезался в перекаат, нельзя бы подумать, что случилась такая досадная для всех неприятность, из-за которой в Нижний опоздадут на несколько часов.

Теркин не считал себя вправе вмешиваться. Он только подошел к рубке, чтобы видеть отчетливее, что там наверху будут делать. Кто-то из пассажиров поважнее громко спросил у лоцмана:

– Да где же капитан?

– Никак отдыхает.

– Отчего же его не разбудят?

– Справимся! Не из чего беспокоить, – ответил за лоцмана помощник.

Так они и не справились до появления Кузьмичева, что случилось часа через полтора, когда красная полоса заката совсем побледнела и пошел девятый час. Сорвать пароход с места паром не удалось помощнику и старшему судорабочему, а завозить якорь принимались они до двух раз так же неудачно. На все это глядел Теркин и повторял при себе: «Помощника этого я к себе не возьму ни под каким видом, да и Андрей-то Фомич слишком уж с прохладцей капитанствует».

Кузьмичев известен был на Волге не столько сведениями по шкиперной части, сколько удачей и сноровкой. Не прошло и получаса, как буксирный пароход снял их с мели в несколько минут, и к десяти часам они уже миновали Балахну, где простояли всего четверть часа, чтобы не так поздно прийти в Нижний.

Совсем уже стемнело, и чем ближе подходили к устью Оки, тем чаще попадались встречные пароходы. Тогда поднимался глухой зловецкий свист, и махали с кожуха цветными фонарями; на одну баржу чуть-чуть было не налетели.

«Все через пень колоду, – говорил про себя Теркин, просидевший на палубе, не замеченный капитаном. – И как еще мы не погорим в такой дьявольской тесноте?..» У него, если только ему удастся еще этим летом начать хозяйствовать, порядки будут другие. Но на этих соображениях не остановилась его голова, быстро овладевавшая трезвой мыслью делового и предприимчивого волжанина. И не об одном личном ходе в гору мечтал он, сидя под навесом рубки на складном стуле. Мысль его шла дальше: вот он из пайщика скромного товарищества делается одним из главных воротил Поволжья, и тогда начнет он борьбу с обмеленьем, добьется того, что это дело станет общенародным, и миллионы будут всажены в реку затем, чтобы навеки очистить ее от перекаатов. Разве это невозможно? А берега, на сотни и тысячи десятин внутрь, покроются заново лесами!

Такие мысли веяли на него всегда душевной свежестью, мирили с тем, что он в себе самом не мог одобрить и чего не одобрил бы и Борис Петрович.

Когда «Бирюч» причалил к пристани в Нижнем, было уже за полночь. Теркин отдал свой чемодан матросу и, проходя мимо капитана, отбиравшего билеты, спросил его:

– А Борис Петрович?

– Просил не будить его до утра. А вы, Василий Иванович, скоро ли будете на Низу? Побежали бы вместе опять к Саратову?

– Может, так и случится! – крикнул Теркин, в хвосте пассажиров поднялся по крутым мосткам на набережную и велел подвезти себя к большому дому, где телеграф.

V

Длинная унылая площадь с гостиним двором изнывает под лучами знойного послеобеда. От белой штукатурной стены одноэтажного здания лавок так и пышет. Сидельцы кое-как дремлют у железных створов или играют в шашки.

У окна номера гостиницы Теркин, полуодетый, допивал стакан сельтерской воды. Он очень страдал от духоты. Жар давал ему головные боли. Сегодня он уже два раза ездил на реку купаться.

Больше ему и делать было нечего в этом городе. Из Нижнего «прибежал» он сюда рано утром, на пароходе американской системы, и спал полсуток, разомлев от жары, не проходившей даже и под вечер. Термометр и вчера и сегодня, по реке и в городе, на солнце показывал тридцать три градуса. В Нижнем он пробыл всего два дня; ему удалось многое наладить, но не все. Только половину капитала имел он в руках для уплаты за пароход «Батрак», уже совсем почти готовый на Сормовском заводе. Ему делали кредит еще на четверть суммы; остальную четверть надо было добыть на днях, там, ниже Саратова, у одного благоприятеля, бывшего еще так недавно его патроном и наставником по делецкой части, Усатина.

Но не поездка на низовья Волги наполняла в эту минуту душу Теркина. Он то и дело поглядывал в ту сторону, где был запад, поджидал заката; а солнце еще довольно высоко стояло над длинным ослепительно белым зданием рядов. Раньше как через полтора часа не покажется краснота поверх зеленой крыши гостиного двора.

Отыскивал он своими подвижными зрачками одну точку, ближе к берегу, на самом возвышенном месте нагорного берега, левее от глав и крестов нового собора.

Точка эта была верх памятника, гранитного столба, стоявшего на площадке посреди жидкого сада.

Вот бы когда сойтись в садике, как раз об эту пору, между вечерней и всенощной. Там, наверно, ни души, даже разносчик не пройдет с пряниками или огурцами. Город совсем вымирает в послеобеденный жар. Но разве можно сидеть там, среди бела дня, хотя бы и в такой глухой час? Вдруг как кто проедет невзначай из знакомых? Ведь ее все знают. Она – жена судейского, служащего здесь больше пяти лет, да еще в такой должности, как следователь самого главного участка в городе. Сейчас кто-нибудь сболтнет: «Серафима, мол, Ефимовна сидит на обрыве у памятника с каким-то приезжим молодым мужчиной!»

Нужна опаска! Чем кончится их любовь – уйдет она от мужа или нет, все-таки он должен до поры до времени ограждать ее – ее больше, чем всякую другую женщину. Она – огонь, все в ней горит, и ничего нет легче, как дать ей зарваться, без разума, только на один срам...

Ему стало у окна немного полегче. Жар и духота спадали. Он прошелся по номеру, все еще в рубашке, без галстука, потом прилег на диван, подложил кожаную дорожную подушку под голову и закурил, – так время скорее ползет. Он – не большой курильщик и за папиросу берется вот в такие минуты, когда надо убить время, а работы нет, или слишком донимает жар.

Дым от папиросы на то только хорош, всегда думал Теркин, чтобы в его извивах видеть целый ряд приятных картин или строить какую-нибудь комбинацию, план действий, вроде как решаешь уравнение, когда алгебра тебе далась, и ты к задачам относишься, как к шахматам, с настоящим игрецким чувством.

Всего в третий раз он в этом городе, никогда не проживал в нем больше трех-четырех дней, и в нем у него любовь, настоящая, захватывающая, быть может, роковая для него.

И все так быстро стряслось. Он, уходя теперь воображением в подробности их встречи, употребил мысленно это слово: «стряслось».

По делу завернул он снова прошлым летом, даже останавливаться на ночь не хотел, рассчитывал покончить все одним днем и чем свет «уйти» на другом пароходе кверху, в Рыбинск. Куда деваться вечером? В увеселительный сад... Их даже два было тогда; теперь один хозяин прогорел. Знакомые нашлись у него в городе: из пароходских кое-кто, инженер, один адвокат заезжий, шустрый малый, ловкий на все и порядочный кутила.

Он всему и стал причиной.

В саду играли какую-то комедию, – кажется, «Фофан» называется, – плохенькая труппа, так что он на второе действие и не пошел, а остался на балконе буфета. По саду бродили цыгане, тоже неважные, обшарканные, откуда-то из Пензы или Тамбова.

Нашел его на балконе адвокат, и через четверть часа он был в большом обществе. Были тут три дамы, офицер, тот инженер, которого знал Теркин.

Они пошли ужинать, заняли одну из комнат вдоль стен залы, где пели арфистки и цыгане в антрактах. Его представили дамам; сначала помещице, кажется, в разъезде с мужем, уже немолодой, толстой. Теркин сейчас же распознал в ней «кутилку». Она так и сыпала, так и сыпала, и стихи вслух читала, и пила довольно. Из остальных двух одна была девушка, лет за двадцать, длинная, некрасивая, но зубастая на разговор, дочь доктора-старичка. При ней и отец состоял. Вторая села рядом с ним, и адвокат ее громко отрекомендовал ему:

– Серафима Ефимовна Рудич, супруга судебного следователя, моего товарища по училищу.

Из этого он уразумел, что оба они были из правоведов.

Ему стало жутко около нее. Никогда еще в жизни не нападала на него такая оторопь, даже покраснел и губы все искусал. В первые минуты не мог ничего ей сказать подходящего, дурак дураком сидел, даже пот выступил на лбу.

Она первая должна была с ним заговорить. Голос ее точно где внутри отдался у него. Глазами он в нее впился и не мог оторваться, хоть и чувствовал, что так нельзя сразу обглядывать порядочную женщину.

Она была «порядочная», без сомнения, держала себя совсем прилично, хотя и смело, и одета была чудесно. До сих пор он помнит черную большую шляпу с яркими цветами, покрытую кружевом, откуда, точно из-под навеса, глядели ее глаза и улыбались ему. Да, сразу начали улыбаться. Он было подумал: она над ним посмеивается, что он сидит таким дураком.

Когда она заговорила, он в ней распознал волжанку. Говор у нее был почти такой же, как у него, только с особенным произношением звука «щ», как выговаривают в Казани и ниже, вроде «ш-ш». И увидел он тут только, что она очень молода, лет много двадцати. Стан у нее был изумительной стройности и глаза такие блестящие, каких он никогда не видал – точно бриллианты заискрились в глубине зрачков.

«Нет, она не барское дитя», – сказал он себе тогда же, и с этой самой минуты у них пошел разговор все живее и живее, и она ему рассказала под гул голосов, что муж ее уехал на следствие, по поручению прокурора, по какому-то важному убийству, что она всего два года как кончила курс и замужем второй год, что отец и мать ее – по старой вере, отец перешел в единоверие только недавно, а прежде был в «бегло-поповской» секте. Намекнула она, и довольно для него неожиданно, что сама она свободно мыслит и на обряд венчания смотрела как на необходимость.

Он слушал и изумлялся, что это все она рассказывает совсем незнакомому человеку и вовсе не по простоте. В ней ума было больше, чем в остальных двух женщинах, и никакой наивности. Оттого это так и случилось, что они друг к другу подошли сразу, как бывает всегда в роковых встречах.

И тогда еще, вернувшись на пароход, он, хоть и в чаду, сказал себе, что эта встреча «даром для него не пройдет!».

VI

К концу ужина, когда они с ней уже несколько раз чокнулись и он начал ей рассказывать про себя, про своего названного отца Ивана Прокофьяча, про гимназию и про житейские испытания, через какие проходил, когда вылетел из гимназии, распорядитель и заводчик этого импровизированного пикника, заезжий адвокат, позвал цыган.

Это был плохенький хор: дурно одетые женщины, очевидно, разъезжавшие только по мелким ярмаркам, зато настоящие черномазые и глазастые, без подозрительных приемышей из русских, что нынче попадают в любом известном хору. И романсы они пели старинные, чуть не тридцатых годов.

Один из этих романсов всем, однако, пришелся очень по вкусу: «Ты не поверишь», пропетый в два голоса. За ним хор подхватил тоже старинную застольную песню, перевирая текст Пушкина:

Кубок янтарный...

Дуэт пели солистка, с отбитым, но задушевым голосом, и начальник хора, бас, затянутый, – ему и теперь памятна эта подробность, – в чекмень из верблюжьего сукна ремнем с серебряным набором и в широчайших светло-синих шароварах, покрывавших ему концы носков, ухарски загнутых кверху.

И вдруг она его спрашивает:

– Вы поете?

– Немножко.

– Может, и на гитаре играете?

– Бренчу.

Он мараковал на гитаре и пел всегда в ученическом хоре; его альт перешел потом в баритон.

– Споем этот же романс... Я его люблю... Он мне напоминает время, когда я только начинала ходить... Я его переняла от нашей горничной... и пела исподтишка. Отец считал всякое пение и музыку бесовским наваждением.

Предложение ее так его захватило, что он даже застыдился... Но желание петь с нею превозмогло.

Она сама сказала адвокату, что они хотят пропеть дуэт. Все захлопали. Цыган отблагодарили, только одну гитару взяли у начальника хора.

Когда он брал аккорды, их взгляды встретились так произвольно, что они оба стали краснеть... Он первый начал, не отрывая от нее глаз:

Коль счастлив я с тобою бываю,
Ты улыбаешься, как май!

Слова он, кажется, произносил не совсем верно, но он их так заучил с детства, да и она так же. Но что бы они ни пели, как бы ни выговаривали слов, их голоса стремительно сливались, на душе их был праздник. И она, и он забыли тут, где они, кто они; потом она ему признавалась, что муж, дом – совсем выскочили у нее из головы, а у него явилось безумное желание схватить ее, увлечь с собой и плыть неизвестно куда...

После дуэта остальные участники ужина хором подхватили «Кубок янтарный», а потом она запела цыганский же романс: Любила я...

Не мог он не откликнуться на это признание. Ни минуты не усомнился он, что она поет ему и для него, а никогда он себя не упрекал в фатовстве и с женщинами был скорее неловок и туг на первое знакомство.

И он забыл, что она «мужняя жена», и ни разу не спросил ее про то, как она живет, счастлива ли, хотя и не мог не сообразить, что из раскольничьего дома, наверно, ушла она если не тайком, то и не с полного согласия родителей. Тот барин, правовед, мог, конечно, рассчитывать на приданое, но она вряд ли стала его женой из какого-нибудь расчета.

Все это отлетело от него. Был уже поздний час, около двух. Те две барыни подпили, и она пила шампанское, но только бледнела, и блеск глаз сделался изумительный – точно у нее в глубине зрачков по крупному алмазу.

– Вот бы на лодке прокатиться... – сказала она после пения, когда он уже держал ее руку и целовал...

Лодка!.. Он готов был нанять пароход. Через несколько минут все общество спустилось вниз к пристани. Добыли большой струг. Ночь стояла, точно она была в заговоре, облитая серебром. На Волге все будто сговорилось, зыбь теплого ветерка, игра чешуй и благоухание сенокоса, доносившееся с лугового берега реки. Он шептал ей, сидя рядом на корме, – она правила рулем, – любовные слова... Какие?.. Он ничего не помнит теперь... Свободная рука его жала ее руку, и на своем лице он чувствовал ее дыхание.

Она первая заговорила о своем замужестве. Не по расчету сделалась она женой следователя, но и не по увлечению.

– Девчонка была!.. Дура!.. Дома очень уж тошно стало! Умел польстить. Суета!.. Теперь только жизнь-то начинаю узнавать.

И в глазах ее промелькнуло что-то горькое и сильное. Намек был ясен: она не нашла любви в супружестве, она искала ее, и судьба столкнула их неспроста.

Уж на рассвете вернулось в город все общество. Никто никому не должен был отдавать отчета. Толстую барыню провожал адвокат, барышня поехала с отцом.

– Меня проведет Василий Иванович, ему потом два шага до гостиницы.

Она сама это сказала. Они шли молча, под руку. Но он чувствовал, как вздрагивал ее стан от прикосновения к его плечу.

У крыльца их дома она вдруг прошептала:

– Вы отсюда на пароход?

– Да... но я останусь.

– Нет, не нужно. Идите!.. Ведь мы больше не увидимся.

И точно хотела его толкнуть рукой. Он схватил эту руку, без перчатки, и поцеловал. Она прильнула к нему, поцелуй ожег его. И тотчас же она крикнула:

– Идите!.. Идите!..

И дернула за звонок.

Он целые сутки не спал на пароходе.

Как было еще раз видеться с ней? На возвратном пути угодил он сюда не раньше как через месяц, остановился без всякой нужды, искал инженера, искал адвоката: ни того, ни другого не оказалось – уехали в Нижний на ярмарку.

Домика, куда он провожал ее, не мог он распознать; ходил спрашивать, где живет следователь Рудич; ему сказали – где; он два раза прошел мимо окон. Никого не было видно, и, как ему показалось, даже как будто господа уехали, потому что со двора в трех окнах ставни были заперты, а с улицы шторы спущены.

«Выкинь из головы! Один срам, точно гимназист мальчишка!» – повторял он себе тогда, по пути в Нижний.

И вдруг там, на ярмарке, в театре, – играли «Грозу», с Ермоловой в роли Катерины, – сидит он в креслах, во втором ряду, навел случайно бинокль на ложи бенуара – она, с какими-то двумя дамами, – он признал их за богатых купчих, – и мужчиной пожилым, уж наверно купеческого звания.

Он просто обмер. Бинокля-то не может отвести от нее. В белом матовом платье, в волосах живой цветок и полуоткрытая шея. Опустил наконец бинокль и все смотрит на нее. А с подмосток ему слышится страстный шепот актрисы, в сцене третьего акта, в овраге волжского побережья, и ему представляется, что это она ему так говорит.

Поклониться он не посмел, весь скованный стоял в антракте. Но, видно, она сама заметила его рост и фигуру, узнала, вся зарделась, поклониться тоже не поклонилась, но в глазах заглялась такая радость, что он опрометью кинулся в фойе, уверенный, что она придет туда.

Неделю прожил он в Нижнем. Какие вечера проводили в саду, на Откосе!.. Но когда надо было расстаться, она ему еще не принадлежала.

Пошла переписка. Зимой он тайно приезжал сюда, и они видались урывками. С мужем она так и не хотела его знакомить.

И вот во второй раз попадает он сюда по ее зову. В ее последних письмах, в ее депеше, найденной в Нижнем, страсть так и трепещет...

VII

Тени пошли, длинные и тусклые, в садике, около памятника. Поздний закат внизу, за самой кручей нагорного берега, расплзался в огромную рыбу с узким носом розовато-палевого колера.

В воздухе пахло стручьими желтыми акаций, пыльных и малорослых, посаженных вдоль решеток сквера.

Теркин пришел первый. Никого он не встретил на улице из господ. Даже издали не было слышно треска извозчичьих дрожек.

На одной из скамеек против пароводных пристаней и большой паровой мельницы, на том берегу реки, он сидел вполоборота, чтобы издали узнать ее: так ему видна была вся главная дорожка от входа, загороженного зеленым столбом с подвижным бревенчатым крестом.

Он знал, что она придет, даже если муж ее и в городе. Она писала в последний раз до присылки депеши, что муж, может быть, поедет в Москву. В депеше, ждавшей Теркина в Нижнем, ничего об этом не говорилось.

Она придет. Она должна была ждать минуты свидания с тем же чувством, как и он. Но он допускал, что Серафима отдается своему влечению цельнее, чем он. И рискует больше. Как бы она ни жила с мужем, хорошо или дурно, все-таки она барыня, на виду у всего города, молоденькая бабочка, всего по двадцать первому году. Одним таким свиданием она может себя выдать, в лоск испортить себе положение. И тогда ей пришлось бы поневоле убежать с ним.

Хотел ли он этого? Добивался ли во время их встреч и на письмах?.. Нет! Он ничего такого не испугается, но и не подбивает се. Если это страсть действительно «роковая» – жить им вместе. Жить так жить, без обмана, не втроем, а вдвоем.

И сегодня, сидя вот тут, у памятника на вышке, за несколько минут до ее прихода, он не только не знаком с «господином следователем», но и представления ни какого не имеет о его наружности; даже карточки мужа она ему никогда не показывала.

За это он ей благодарен. Значит, в ней есть прямота. Противно ей ввести его к себе в дом и под личиною держать при себе в звании тайного любовника. При редких наездах ничего бы и не всплыло наружу. Тогда стало бы гораздо свободнее. Вот такая встреча в саду показалась бы совсем простой встречей. Да и надобности не было бы сходитьсь здесь по уговору. Просто явился к ним, когда мужа нет, да и предложил пройтись на набережную.

Ей не по душе обман. И он не любит его, почему и не посягал на замужних женщин, даже в таких случаях, когда все обошлось бы в наилучшем виде: с женами подчиненных или мужей, что сами рады бы... Таких, по нынешним временам, везде много развелось.

Влекло его к ней и то, что она второй год не принадлежала ему. Он не хотел себе дать полного отчета в том, какая именно борьба идет между ними и кто прямее, но теперь ему кажется, что – она. Ведь он ни разу, ни устно, ни письменно, не сказал ей:

«Жизнь моя!.. Иди ко мне!.. Разведись. Будем муж и жена!»

И когда он оставался наедине со своей совестью, он не хотел лгать самому себе. К браку с нею его не тянуло. Почему? Он сам не мог ответить. Вовсе не оттого, что он боялся за свою холостую свободу. А точно в пылкое влечение к этой женщине входила струя какого-то затаенного сомнения: в ней ли найдет он полный отклик своей сильной потребности в беззаветной и чистой любви?

В этой связи полной чистоты не будет, даже если они и обвенчаются. На венчание она сама вряд ли будет подбивать его. У нее нет никакой веры в таинство брака. Она ему это сказала в первый же их разговор, за ужином увеселительного сада.

В душе Теркина стремительно чередовались эти мысли и вопросы. Каждая новая минута, – он то и дело поворачивал голову в сторону зеленого столбика, – наполняла его больше и больше молодым чувством любовной тревоги, щекотала его мужское неизбежное тщеславие, – он и не скрывал этого от себя, – давала ему особенный вкус к жизни, делала его смелее и добрее.

Зимой он на свидании с ней в гостинице повел было себя как всякий самолюбивый ухаживатель, начал упрекать ее в том, что она нарочно тянет их отношения, не верит ему, издевается над ним, как над мальчуганом, все то говорил, чем мужчины прикрывают свое себялюбие и свою чувственность у нас, в чужих краях, во всем свете, в деревенской хате и в чертогах.

Она, однако, не сдалась. Ее тогдашние возгласы он помнит:

– Вася!.. Не гневайся! Душой я твоя, но пока с мужем живу – не буду от него блудить!

И это раскольничье слово «блудить» покорило его. В нем было что-то низкое для нее, для всего ее облика. Ведь она училась, читала, хорошо играла на фортепьянах, выражалась до тех пор образно и метко, но без вульгарных оборотов и слов. А тут вдруг «блудить».

Он уехал почти возмущенный. Ее письма утишили эту хищническую бурю. Сначала он причислял ее к тем ехидным бабенкам, что не отдаются любимому человеку не потому, чтобы были так чисты и прямы душой, а из особого рода зазорной гордости, – он таких знал.

«Никто-де не скажет, что я пала... Хоть и люблю, и говорю это, – клейма на себя не наложу, и любимый человек не добьется своего, не сделает меня рабыней».

Но ее письма дышали совсем другим. Она не таилась от него... Беззаветно предавалась она ему, ничего не скрывала, тяготилась постылым мужем, с каждым днем распознавала в нем «дрянную натуришку», ждала чего-то, какой-нибудь «новой гадости», – так она выражалась, – чтобы уйти от него, и тогда она это сделает без боязни и колебаний.

И к весне, когда близилась возможность новых свиданий, опять он решительно встал на ее сторону, распознал в себе «зверя», стряхнул с себя всякий задор мужскою тщеславия. Он желал любить ее так же честно, как и она.

Ему захотелось, чтобы его страсть овладевала им безраздельно, не давала ему времени думать, разбирать, сомневаться в чем-нибудь, полагать расхолаживающим сомнениям.

Когда он четверть часа тому назад шел сюда, в этот садик, у него в груди занималось точно от быстрых глотков игристого вина, и то становилось вдруг жарко голове, то холодело на висках. Это ощущение давало ему верную ноту того, что его влечет к Серафиме, влечет и душевно, без чувственных образов. Он не мечтал о ее поцелуях, – да и как они будут целоваться в публичном месте, – но жаждал общения с ней, ждал того света, который должен взвиться,

точно змейка электрического огня, и озарить его, ударить его невидимым током вместе со взрывом страсти двух живых существ.

Одевался он долго и с тревогой, точно он идет на смотр... Все было обдуманно: цвет галстука, покрой жилета, чтобы было к лицу. Он знал, что ей нравятся его низкие поярковые шляпы. Без этой заботы о своем туалете нет ведь молодой любви, и без этого страха, как бы что-нибудь не показалось ей безвкусным, крикливым, дурного тона. Она сама одевается превосходно, с таким вкусом, что он даже изумлялся, где и у кого она этому научилась в провинции.

Ведь и она в ту же пору заботливо прихорашивала себя, думая о том, как бы ему сильнее понравиться:

Есть у него и еще один признак «без обмана» – это вздрагивание нервов при виде любимой женщины. Никаким усилием воли нельзя воздержаться от такого ощущения. В первую тайную встречу в Нижнем на Откосе, в десятом часу, на дорожке, в густой тени лип, он еще не испытывал этого удара под коленями.

Здесь, зимой, когда она, постучавшись, вошла в полутемноту передней, и он распознал ее фигуру, колени задрожали, прежде чем он прикоснулся к ее руке.

«А вдруг не задрожат?» – против воли подумал Теркин и тотчас же рассердился на себя за такой вопрос.

Вправо от входа глаза его схватили что-то черное, стройное, быструю походку, большую шляпу. Он вскочил и чуть не упал – так сильно было ощущение, в которое он верил как в признак без обмана. Радость заколыхалась в нем, и глаза стали мгновенно влажны... У него не хватило сил кинуться к ней навстречу.

VIII

Начало заметно смеркаться. Звезды засветились неровными искрами. В садике не было никого, кроме пары, пересевшей на другую скамью над самым обрывом.

Они держали друг друга за руку. Теркин смотрел на Серафиму снизу вверх; он нагнулся, чтобы глазам его удобнее было проникать под щиток ее черной шляпы, покрытой бантами и черными же перьями.

Она за полгода стала еще краше, немного пополнела в лице и стане. Сквозь смугло-бледноватую кожу румянец разливался ровно, с янтарным отблеском. И такой же, как у него, пышный рот раскрывался еще привлекательнее, оточенный пушком; губы стали потемнее, и белизна острых и крупных зубов придавала ей что-то восточное. Шея налилась и руки. В гренадиновом платье с прозрачными рукавами, она накинула на плечи кружевную короткую мантильку, и воротник подпирал ей сзади затылок живописно и значительно. Никто бы не сказал, глядя на ее туалет и манеру носить его, что она губернская барынька из купеческой раскольничьей семьи.

Ему всего дороже были в ее облике глаза, откуда блестели два брильянта, и смелое очертание носа, тонкого, с маленькой припухлостью кончика, в которой сказывался также восточный, немного татарский тип ее лица.

– Уехал, значит, на целую неделю? – спросил Теркин тоном человека, которому не верится в собственную удачу.

– Теперь всего день остался... Может, завтра приедет – писал уж, что все уладилось, как он желал...

– Вернется товарищем прокурора?

– Хорош прокурор!

Возглас ее замер в прозрачной тишине засвежавшего воздуха.

– Хорош! – повторила она страстным шепотом, нагнулась к нему лицом и сжала сильнее его руку. Вася! так он мне противен... Голоса – и того не могу выносить: шепелявит, по-бар-

ски мямлит. – Она сделала гримасу. – И такого человека, лентяя, картежника, совершенную пустушку, считают отличным чиновником, важные дела ему поручали, в товарищи прокурора пролез под носом у других следователей. Один чуть не двадцать лет на службе в уезде...

Они говорили о муже ее, и им обоим было неприятно это. Но избежать такого разговора они не могли.

Когда они встретились и сели на скамью, один поцелуй и несколько любовных слов – вот и все, чем они обменялись... Их стесняло то, что они на виду у всех, хотя никто еще не зашел в садик. Теркин хотел сейчас же сказать ей, зачем она не приехала к нему в гостиницу, но вспомнил, что она просила его в письме на том не настаивать.

О муже речь шла не более десяти минут. Серафима передавала то, чего он не знал еще по ее письмам в таких подробностях. Рудич – игрок, и из ее приданого уже почти ничего не осталось. Правда, он дал ей вексель, но что с него получишь?..

Она не договорила: «Ничего не получишь, если даже и уйдешь от него».

Не так мечтал Теркин об этой тайной беседе на набережной в сумерках июльской ночи. Что ему за дело до господина Рудича?.. Мот он или скопидом, гуняв или молодец – ему хотелось бы забыть о его существовании. Но Серафима, выдавая ему личность мужа, показывала этим самым, на каком градусе находится она от окончательного разрыва. Ее слова дышали решимостью покончить с такой постылой жизнью. Она вся отдавалась ему и хотела сначала и его и себя убедить, как честных людей, что в ней не блажь говорит, не распутство, а бесповоротное чувство, что личность мужа не заслуживает никакого сожаления.

Мог ли он, Теркин, быть судьей?

Он ей верил; факты налицо. Рудич – мот и эгоист, брюзга, важнюшка, барич, на каждом шагу «щуняет ее», – она так нарочно и выразилась сейчас, по-мужицки, – ее «вульгарным происхождением», ни чуточки ее не жалеет, пропадает по целым ночам, делает истории из-за каждого рубля на хозяйство, зная, что проиграл не один десяток тысяч ее собственных денег.

И все-таки он не мог и не желал быть судьей... Его начинало раздражать то, что время идет и они тратят его на перебирание всех этих дрызг.

– Ну его к Богу! – на вытерпел он. – Твоя добрая воля, Сима, поступить, как он того заслуживает, твой супруг и повелитель; не желаю я, чтобы ты так билась! Положи себе предел, – дольше терпеть постыдно!

– Еще бы! – громко выговорила она и, не оглянувшись назад, обняла его за шею и поцеловала долгим беззвучным поцелуем.

Голова его затуманилась.

– Все, все я сделаю!.. – шептала она ему на ухо, не выпуская его руки. – Обо мне что сокрушаться!.. Тебе бы только была во всем удача.

Она вдруг опустила голову и заговорила гораздо тише, более жидким звуком, тоном девушки, немного отрывочно, с передышками.

– Отец совсем плох... Доктор боится – ему до осени не дотянуть. Я у них теперь чаще бываю, чем в прошлом и позапрошлом году.

– Когда он заболел? – перебил ее Теркин.

– Второй год уж... Сердце, ожирение, что ли, одышка, целыми ночами не спит... Водянка начинается... Жалко на него смотреть...

– А мать как?

– Она еще молодцом. Ты бы и не сказал, что ей за пятьдесят... Разумеется, и она мается ночи напролет около него.

– С тобой он как?

– Ласков... Простил давно. Муженька моего он сразу разгадал и видит, какие у нас лады... Я ему ничего не говорю про то, что мои деньги Рудич проиграл. Ты знаешь, Вася, в нашем быту первое дело – капитал. Он меня обвинит и будет прав. Еще добро бы, я сразу души

не чаяла в Рудиче и все ему отдала, – а то ведь я его как следует никогда не любила... нужды нет, что чуть не убежала из родительского дома.

Серафима немного помолчала.

– Я к тому это рассказываю – тебе надо теперь почаще наезжать, если сподручно, поблизости находиться. Отец может отойти вдруг... задохнуться. Вася! ты меня не осуждай!..

– За что, голубка? – вырвалось у него звонко.

– Да вот, что я хочу с тобой переговорить о делах... Видишь, нашей сестре нельзя быть без обеспечения. – Она тихо рассмеялась. – Я знаю, интеллигенты разные сейчас за Островского схватятся? это, мол, как та вдова-купчиха, что за красавчика вышла... помнишь?.. Как бишь называется пьеса?

– Кажется: «Не сошлись характерами».

– Да, да. Там она рассуждает: «Что я буду без капитала?.. Дура, мол!..» Я вот и не дура, и не безграмотная, а горьким опытом дошла до того же в каких-нибудь два года... От моего приданого один пшик остался! Тряпки да домашнее обзаведение!

Глаза ее все темнели, блеск пропал; она сидела с опущенной головой, и щеки казались совсем матовыми.

– Ты боишься, что тебя родители обидят?

Тотчас после этого вопроса Теркин испытал новую неловкость: ему сделалось почти противно, что он втягивается в такой разговор, что он за сотни верст от того, о чем мечтал, что его деловая натура подчиняла себе темперамент увлеченного мужчины.

Серафимы он не осуждал: все это она говорит гораздо более из любви к нему, чем из себялюбия. Она иносказательно хочет дать ему понять, что на его материальную поддержку она не рассчитывает, что свою жизнь с ним она желает начать как свободная и обеспеченная женщина. В этом он не сомневался, хотя где-то, в маленькой складке его души, точно заскребло жуткое сомнение: не наскочил ли он на женскую натуру, где чувственное влечение прикрывает только рассудочность, а может, и хищничество. «А сам-то я разве не из таких же?» – строго спросил он себя и взглядом показал ей, что слушает ее с полным сочувствием.

– Боюсь я вот чего, Вася, – она продолжала еще тише, – дела-то отцовы позамялись в последние годы. Я сама думала, да и в городе долго толковали, что у него большой капитал, кроме мельницы, где они живут.

Теркин кивнул головой, слушая ее; он знал, что мельница ее отца, Ефима Спиридоныча Беспалова, за городом, по ту сторону речки, впадающей в Волгу, и даже проезжал мимо еще в прошлом году. Мельница была водяная, довольно старая, с жилым помещением, на его оценочный глазомер – не могла стоять больше двадцати, много тридцати тысяч.

– А тебе сдается?..

– Мать уже намекала мне, что после отца не окажется больших денег. Завещание он вряд ли написал... Старого закона люди завещаний не охотники составлять. На словах скажет или из рук в руки отдаст. Мать меня любит больше всех... Ведь и ей жить нужно... Ежели и половину мне отдаст... не знаю, что это составит?

Серафима задумалась.

– Вася! ты на меня как сейчас взглянул – скажешь: я интересанка!.. Клянусь тебе, денег я не люблю, даже какое-то презрение к ним чувствую; они хуже газетной бумаги, на мой взгляд... Но ты пойми меня: мать – умная женщина, да и я не наивность, не институтка. Только в совете нам не откажи, когда нужно будет... больше я ни о чем не прошу.

– О чем просить!.. Только черкни или дай депешу – и я тут, как лист перед травой.

Сдержанный смех вырвался из его широкой груди. Он взял ее за талию и ближе притянул к себе.

– Как лист перед травой, – медленно повторила она. – Вася! ты полюбил меня, верю... Но знай одно, – я это говорю перед тем, как быть твоей... Не можете вы так любить, как мы любим, когда судьба укажет нам на человека... Нет! Не можете!

На последних словах ее голос дрогнул. Теркин промолчал.

IX

Совсем стемнело. С реки доходил раскатистый, унылый гул редких паровых свистков; фонари на мачтах выделялись яркими цветными точками. Заволжье лежало бурой пеленой на низком горизонте. В двух местах развели костры, и красное расплывчатое пламя мерцало на пологие ночи.

Ветерок играл кружевом на шляпке Серафимы. Она прижалась к плечу Теркина и говорила медленнее, как бы боясь показать все, что у нее на душе.

– Ты как вообще смотришь на таких девиц?

Они теперь опять вернулись к ее семейным делам. На ее слова о любви мужчины и женщины он не возражал, а только поглядел на нее долго-долго, и она не стала продолжать в том же духе. Теперь она спрашивала его по поводу ее двоюродной сестры, Калерии, бросившей их дом года два перед тем, чтобы готовиться в Петербурге в фельдшерницы.

Как я смотрю? – переспросил ее Теркин. – Да признаться тебе, не очень я одобряю всех этих стриженных.

– Она, положим, не стриженная, – поправила Серафима, – а волосы длинные носит, все хочет в ангельском чине быть, – прибавила она, и в голосе слышалось что-то злобное.

– Все равно... Прежние-то, лет пятнадцать тому назад, когда я еще в школе был и всякая дурь в голову лезла... те, по крайности, хоть смелы были, напролом шли, а частенько и собственной шкурой отвечали. А нынешние-то в те же барышни норовят, воображают о себе чрезвычайно и ни на какое толковое дело не пригодны.

Глаза ее радостно блеснули в темноте.

– Вот я и думала, Вася, что ты так именно на всех этих госпож смотришь. Калерия с детства все на себя напускала... То в божественность ударится – хотела даже в скит поступить, да скитов-то не оказалось и на самом Иргизе. То вообразила себе, что у ней талант – стихи начала писать... Кажется, посылала в Москву, в редакцию; да там, должно быть, вышутили ее жестоко в ответном письме – и с нее это слетело. Тогда она заговорила о высоком призвании женщины в современном обществе. Евангелием зачитывалась, начала рваться отсюда учиться, врачевать недуги человечества, только, – злобный смех прервал ее слова, – для врачевания-то надо диплом иметь, а она, даром что стихи писала, а грамматики порядочно не прошла, пишет «убеждение» б/е – е, д/е – ять, стало быть, в медички ей нечего было и мечтать. Она в фельдшерницы с грехом пополам попала, там, при Красном Кресте, что ли.

– Так, так...

Теркин слушал внимательно, и в голове у него беспрестанно мелькал вопрос: «зачем Серафима рассказывает ему так подробно об этой Калерии?» Он хотел бы схватить ее и увлечь к себе, забыть про то, кто она, чья жена, чьих родителей, какие у нее заботы... Одну минуту он даже усомнился: полно, так ли она страстно привязалась к нему, если способна говорить о домашних делах, зная, что он здесь только до рассвета и она опять его долго не увидит?..

Вся она вздрагивала, как только он сжимал ее талию или тихо прикасался губами к похолодевшей щеке. От нее шло это трепетанье и сообщалось ему... Говорит же она про Калерию неспроста, клонит все к тому же. Она не может ничего утаить от него. Она показывает, что отныне он – ее сообщник во всем и руководитель. Ей надо излиться вполне и знать теперь же: разделяет ли он ее взгляды и чувства к этой Калерии?

– Видишь ли, Вася, – продолжала она совсем тихо, – папеньке брат оставил ее на попечение. И капитал был... неважный... Дядя Прокофий Спиридоныч... всегда был такой прожектор, и много у него денег ушло на глупости.

– Однако она все-таки наследовала...

– Как тебе сказать... И да, и нет. Завещания никакого не оставил дядя. И обороты главные, по хлебной торговле, у них были общие. Часто отец его выручал. Я думаю, значилось, быть может, за ним несколько тысконок, не больше.

– Не больше? – переспросил Теркин, все еще не видя ясно, куда она клонит.

– Ни в каком случае! Это и мать говорит, а она отроду не выдумывала. Не знаю, солгала ли на своем веку в одном каком важном деле, хоть и не принимала никогда присяги. Отец-то Калерию баловал... куда больше меня. И все ее эти выдумки и поступки не то что одобрял... а не ограничивал. Всегда он одно и то же повторял: «Мой первый долг – Калерию обеспечить и ее капиталец приумножить».

– Что ж, это – по-честному.

– Кто говорит! – перебила Серафима. – Только как же теперь, – умри отец без завещания, – определить, сколько ей следует и сколько нам?..

Протянулось молчание. Теркин незаметно для себя входил в то, что ему говорила Серафима. Теперь он хорошо понимал, о чем ее забота и какого мнения она ждет от него.

– Дело чистое, – выговорил он, немного отведя от нее глаза, – коли завещания не будет и отец на словах не распорядится – вам надо полюбовно разделить. Вы ее, во всяком случае, обидеть не захотите...

Когда он произносил эти слова, за него думал еще кто-то. Ему вспомнилось, что тот делец, Усатин, к кому он ехал на низовья Волги сделать заем или найти денег через него, для покрытия двух третей платы за пароход «Батрак», быть может, и не найдет ни у себя, ни вокруг себя такой суммы, хоть она и не Бог знает какая. – А во сколько, – спросил он Серафиму, перебивая самого себя, – по твоим соображениям, мог он приумножить капитал Калерии?

– Это трудно сказать... Он насчет дел своих всегда скрытен был. Да и с тех пор, как болеет, не очень-то от него узнаешь правду... Даже и маменьке ничего не говорит. Скажет – когда совсем смерть придет.

«Однако как же это она про смерть отца так говорит? – подумалось ему. – Как будто очень уж жестко...»

Ему не хотелось обвинять ее. Он знал, что в купеческих семьях, все равно что в крестьянстве, нежностей больших не водится. А тут, вдобавок, особенный случай. Она выскочила замуж так стремительно, потому что ей дома было тошно. Суровый отец; разница в образовании; они с матерью остались раскольниками; она набралась других мыслей, даже и на таинства стала глядеть как на простые обряды. По-своему она может и теперь любит отца. Умри он – и она будет убиваться. И мать она любит – это чувствуется в каждом ее слове.

– Смущаться тебе нечего, Сима, – успокоенным тоном сказал Теркин и повернул к ней лицо. – Ни тебя, ни двоюродной твоей сестры отец не обидит. И вы с матерью в полном праве порадеть о ваших кровных достатках. Та госпожа – отрезанный ломоть. Дом и капитал держались отцом твоим, а не братом... Всего бы лучше матери узнать у старика, какие именно деньги остались после дяди, и сообразно с этим и распорядиться.

– Ты так говоришь, Вася? – вскричала она еще радостнее. – Спасибо тебе, родной!

Ее руки обвились вокруг его шеи. Влажные нервные губы прильнули к его губам.

И он еще сильнее почуял, что эта женщина вся принадлежит ему.

Держа его голову в своих руках, Серафима спросила его:

– А ты мне не скажешь, Вася, надолго ли ты туда, в Царицын? Ведь ты едешь к тому господину?

По его письмам она знала, что он сделается пайщиком товарищества и надеется еще к концу макарьевской ярмарки приобрести пароход.

– С неделю это возьмет, Сима.

– И сколько тебе не хватает денег? – горячо спросила она.

– Что об этом толковать?!

Он не любил вводить женщин в свои расчеты, считал это недостойным стоящего мужчины.

– Почему же ты не хочешь? – порывисто спросила она. – Думаешь, я тебе в этом не помощница?.. Нет, Вася, я хочу все делить с тобой. Не в сладостях одних любовь сидит. Если я тебе полчаса назад сказала, что без обеспечения нельзя женщине... верь мне... сколько бы у меня ни оказалось впоследствии денег, я не для себя одной. Чего же тебе от меня скрытничать!

– Да я и не думаю, – мягко выговорил Теркин. – Тысяч всего двадцати не хватает. Остальное мне поверят!.. Заработаем духом!

– Двадцать тысяч, – глухо и вдумчиво произнесла Серафима. – Спасибо, что сказал.

Она стала его целовать много-много. Теркин отвел ее обеими руками за плечи и сказал прерывисто:

– Сима! Довольно!.. Так нельзя. Пожалей меня!..

– Прости, жизнь моя, прости!

– Проводи меня.

Теркин встал, и она тотчас же поднялась.

Оба пошли оттуда быстро и молча. Он чувствовал, что Серафима войдет к нему. Был уже одиннадцатый час. Везде стояла тишина, и только из увеселительного сада, где они когда-то встретились, донесся раскат музыки.

Серафима у крыльца гостиницы припала головой к его плечу, и у нее вырвался один возглас:

– Вася!..

Х

Пароход «Бирюч» опять пробирался по сомнительному плёсу, хотя и шел к низовьям Волги и уже миновал две-три больших стоянки.

Рано утром, на заре, он тронулся с последней ночевки, где принял несколько пассажиров.

В числе их был и Теркин. Он спал до пяти часов и, когда стало уже вечереть, вышел на палубу.

Проходили мимо гористых берегов, покрытых лесом почти вровень с водою. Теркин сел у кормы, как раз в том месте, где русло сузилось и от лесистых краев нагорного берега пошли тени. – Василию Ивановичу! – окликнул его сверху жирным, добродушным звуком капитан Кузьмичев. Как почивали?

– Превосходно! – ответил Теркин и два раза кивнул ему головой.

Капитан прохаживался по правому кожуху и курил.

– Вот опять к нам угодили. Весьма рад.

– И я также, – ответил ему Теркин в тон.

Ему в самом деле было приятно, что он совершенно неожиданно попал на «Бирюч». Ему казалось только странным, почему этот пароход так поздно пришел в тот губернский город, где он сегодня чем свет сел на него.

– Вы, нешто, где застряли? – крикнул он снизу вверх капитану.

– И весьма!..

– Где же?

– У села Работок. С колесом вот с этим беда приключилась. Целую неделю валандались. Срочный груз должны были паузить.

– Дрянная посудина! – заметил хозяйским тоном Теркин.

– Мне самому, Василий Иванович, она оскомину набила.

Кузьмичев присел на корточки на край кожуха, свесив голову, и полушепотом пустил:

– К вам проситься буду...

– Милости прошу, – ответил Теркин полуплутливо, но тотчас же про себя прибавил: «тебя я не прочь взять, ты ловкий и душевный парень; только надо тебя будет маленько подтягивать».

– Спасибо на добром слове!

Глаза Кузьмичева весело заиграли; он, всегда красный, еще покраснел и молодцевато поднялся на ноги.

– Вы до Царицына с нами? – спросил он еще возбужденнее.

– До Царицына.

– А «Батрак» ваш, поди, совсем готов, ждет только, как его в купель опустят... За чем дело стало?

Теркин без слов показал ему, что есть заминка в деньгах, постукав правой кистью о ладонь левой.

– Хе-хе! – раздался веселый смех капитана. – Вы это живой рукой оборудуете.

В его словах не было лести. Он действительно считал Теркина умнейшим и даровитейшим малым, верил, что он далеко пойдет... «Ежели и плутовать будет, – говорил он о нем приятелям, – то в меру, сохранит в душе хоть махонькую искорку»...

Тон капитана пришелся Теркину по сердцу. И весь этот интимный разговор прошел без ближайших свидетелей. Около никто не сидел, и чтобы не очень было слышно, Теркин придвинулся к самому кожуху.

– Всякого успеха! – крикнул капитан, подошел к перилам рубки и что-то тихо сказал лоцману.

Теркин остался один на этой половине кормового борта. Ехало мало народу, и от товаров палуба совсем очистилась: которые сдали в Нижнем, а которые должны были выгрузить в селе Работках, где с «Бирючем» стряслась беда.

Разговор о «Батраке» и о его поездке за деньгами вернул его мгновенно к тому, что было там, в губернском городе, у памятника, и у него, в гостинице.

Когда он вышел из каюты и сел у кормы, он ни о чем не думал, ничего не вспоминал; на него нашло особого рода спокойствие, с полным отсутствием дум. Воображение и чувства точно заснули.

Разговор с Кузьмичевым вызвал разом все, с чем он сел сегодня в четвертом часу утра на пароход «Бирюч».

Он полон был Серафимой, и это его почти пугало... Она ему нравилась, тянула к себе; обладать ею он мечтал целый год и с каждым днем все страстнее, но он не воображал, чтобы в ней он нашел столько прелести, огня, смелого порыва, обаяния.

Он не понимал даже, как мог он оторваться от нее и попасть на пароход. Да и она, – скажи он слово, осталась бы до позднего часа, и тогда ее разрыв с мужем произошел бы сегодня же. Ведь нынче вечером должен приехать из Москвы Рудич. Но она ушла в допустимый час – часа в два. В такой час она могла, в глазах прислуги, вернуться из сада или гостей.

Теркин без всяких расспросов верил, что у нее до встречи с ним не было никого, а мужа она не любила, стало быть, не могла испытывать никакого упоения от его ласк. Она слишком еще молода. Не успела она приучиться к чувственной лжи. И нельзя надевать на себя личину с такой натурой.

Да, он почти пугался того, как эта женщина «захлестнула» его.

Его торжество как мужчины полное. Стоит ему дать ей депешу из ближайшего города, и она убежит.

И сегодня, прощаясь с ним у крыльца гостиницы в полусвете занимавшегося утра, она говорила прерывающимся шепотом, пополам с неслыханными им по звуку рыданиями.

– Вася! Я готова уехать с тобой. На том же пароходе, так вот, как я есть... в одном платье... Но не будешь ли ты сам упрекать меня потом за то, как я обошлась с мужем? Я ему скажу, что люблю другого и не хочу больше жить с ним. Надо его дожидаться... Для тебя я это делаю...

И она не лгала. Он не мог себе представить, чтобы страсть женщины, с которой он счетом встречался четыре раза в жизни, достигла такого предела.

В себе он не чувствовал еще ни охоты, ни сил как-нибудь оглядеться, подумать о последствиях. Связь уже держала его точно в клещах, но эти клещи были полны неизведанной сладости. И долго ли он будет так захвачен – он не знал и не хотел себя допрашивать.

Под навесом, между кожухами, на фоне пролета, где помещается машина и куда заходили лучи вечернего солнца, отделилась мужская фигура.

Пассажир лет за пятьдесят, с ожерельем седеющей бороды, – остальное все было выбрито, – в белом картузе и камлотовой коричневой шинели. Лицо его землистого цвета как бы свело изнутри, так что рот пошел весь складками, и под нижней губой лежала очень заметная морщина. Он прищурился против солнца из-под длинного козырька картуза, обшитого также белым ластиком. Глаза, без ресниц, слезились, – желтоватые, пронизательные и с воспаленными веками. Из-под фуражки виднелись темно-русые волосы, еще без седины, и полоска лысины вдоль ободка ее.

Шинель держалась на его плечах внакидку, застегнутая, и под галстуком блеснул ободок креста, с лентой какого-то ордена.

Весь он отзывался провинцией, смотрел запоздалым губернским чиновником.

Постоял он несколько минут, глядя взад парохода на уходившие гористые берега, и вдруг кашлянул протяжно, в нос, и совершенно на особый лад.

Теркин был как бы разбужен этим необычайным звуком и быстро поднял голову.

Пассажир в камлотовой шинели стоял близко от него, и профиль под тенью козырька первый был схвачен Теркиным.

«Кто это? – чуть не вслух выговорил он. – Фрошка?..»

Точно желая убедиться в том, что он не ошибается, Теркин даже протер глаза и подался вперед всем корпусом.

Камлотовая шинель повернулась впол оборота.

«Он!..» – вскричал про себя Теркин и весь заглодел.

В один миг все, чем он был сейчас переполнен, отлетело, и вслед за тем краска разлилась по его щекам.

Пассажир еще раз кашлянул, сплюнул, запахнувшись в шинель, пошел ускоренным шагом к рубке и скрылся в дверях ее.

«Фрошка, Фрошка! С орденом на шее! Он! Он!» – повторял Теркин и так взволновался, что встал и начал ходить по палубе.

XI

В господине с орденом на шее он признал «Фрошку»: так они звали в гимназии надзирателя и учителя, Фрументия Лукича Перновского. Из-за него он вылетел из гимназии, двенадцать лет тому назад.

Внезапное появление «лютого врага» захватило Теркина всего. История его исключения запрыгала в его мозг в образах и картинах с начала до конца.

От волнения он должен был даже присесть опять на скамейку, подальше, у самой кормы. Он поборол в себе желание пойти сейчас в каюту убедиться, что это действительно Перновский, заговорить с ним.

Это не уйдет.

Он был тогда в шестом классе и собирался в университет через полтора года. Отцу его, Ивану Прокофьевичу, приходилось уж больно жутко от односельчан. Пошли на него наветы и форменные доносы, из-за которых он, два года спустя, угодил на поселение. Дела тоже приходили в расстройство. Маленькое спичечное заведение отца еле-еле держалось. Надо было искать уроков. От платы он был давно освобожден, как хороший ученик, ни в чем еще не попадавший.

Начальство, особливо наставники, не очень-то его долюбливали, проговаривались, что крестьянским детям нечего лезть в студенты, что, мол, это только плодить в обществе «неблагоданеренных честолюбцев». Такие фразы доходили до учеников из заседаний педагогических советов, – неизвестно, какими каналами, но доходили.

При гимназии состоял пансион, учрежденный на дворянские деньги. Детей разночинцев туда не принимали – исключение делали для некоторых семей в городе из именитых купцов. Дворяне жили в смежном здании, приходили в классы в курточках, за что немало над ними потешались, и потом уже стали носить блузы.

В своем классе Василий Теркин считался «битк/ой» за смелость, физическую силу, речистость, отличную память и товарищеский дух. Что бы ни затевалось сообща – он всегда был во главе.

Из «дворянчиков» у него в низших классах водились приятели. К ним его тянуло сложное чувство. Ему любо было знаться с ними, сознавая свое превосходство, даром что он приемыш крестьянина, бывшего крепостного, и даже «подкидыш», значит, незаконный сын какой-нибудь солдатки или того хуже.

Раз, – он уже перешел в четвертый класс, – один второклассник подбежал к нему и кинул в лицо:

– Теркин! ты...

Ругательное слово криливо раздалось по всему классу. Теркин схватил его за шиворот и в полуоткрытую дверь вышвырнул в коридор, где тот чуть не расшибся в кровь, упав на чугунные плиты. Но тот не посмел бежать жаловаться – его избили бы товарищи; они все стали на сторону Теркина, хотя и знали давно, кто он, какого происхождения...

С той поры он и сам перестал скрывать, что он «приемыш»: крестьянского рода он никогда не стыдился. В классе он был настоящий, тайный «старшой», хотя старшим считался, в глазах начальства, другой ученик, и товарищи поговаривали, что он ведет «кондуитный список» для инспектора и часто заходит к живущим на квартирах без родителей вовсе не за тем, чтобы покурить или чайку напиться, а чтобы все высмотреть и разузнать. За это все его в насмешку прозвали «тutor» – слово, начинавшее тогда входить в моду; оно пришло из Москвы и десятки лет не было известно гимназистам; считалось всегда кутейническим, семинарским.

В старших классах учителями-наставниками были неизвестно какого происхождения Виттих и Перновский, вот этот самый «Фрошка», из духовного звания, он же состоял и в надзирателях в дворянском пансионе. С Виттихом класс еще ладил, нимало не боялся, слишком скоро раскусил его. Виттих сам заговаривал с учениками и в классе, и на улице; только про него давно толковали, что он «переметная сума» – в глаза лебезит, «голубчиком» называет, а директору все доносит и в совете, при обсуждении отметок за поведение, наговаривает больше всех остальных.

В пансионе водилось между учениками двух старших классов, что им надзиратели и даже учителя взаймы деньги давали, – правда, без процентов. Из пансиона перешло это и в гимназию, к ученикам из мелкочиновничьих детей и разночинцев.

Сначала дворянские дети из уездов начали просить, когда из деревни запаздывала присылка карманных денег.

– Поеду на вакации! Клянусь Богом, привезу, дайте зелененькую!

Кто был помягче – давали, да и риску большого не предвидели. С вакаций воспитанник придет наверно при деньгах, можно было и родителям написать. До этого, однако, никто себя не доводил.

Потом и приходящие гимназисты, из разночинцев, стали занимать. У Виттиха можно было раздобыться скорее, чем у других, около двадцатого числа. Все почти учителя давали взаймы. Щедрее был учитель математики. У него Теркин шел первым и в университет готовил себя по физико-математическому факультету, чтобы потом перейти в технологический или в путейцы.

Только одному учителю нельзя было и заикнуться о «перехвате» денег – Перновскому. Весь класс его ненавидел, и Перновский точно улаживался этой ненавистью. Прежде, по рассказам тех, кто кончил курс десять лет раньше, таких учителей совсем и не водилось. В них ученики зачуяли что-то фанатическое и беспощадное. Перновский с первого же года, – его перевели из-за Москвы, – показал, каков он и чего от него ждать...

Уже и тогда Перновский смотрел таким же старообразным и высохшим, а ему не было больше тридцати трех-четыре лет; только на щеках у него показывалась часто подозрительная краснота с кровавыми жилками...

Из пансионеров Теркин дружил всего больше с «Петькой» Зверевым, из богатеньких помещичьих детей. Отец его служил предводителем в дальнем заволжском уезде. Зверев был долговязый рыжий веснушчатый малый, картавый и смешливый, с дворянскими замашками. Но перед Теркиным он пасовал, считал его первой головой в гимназии; к переходу в пятый класс, когда науки стали «доезжать» его, с ним репетировал Теркин за хорошую плату.

Они оба слегка покучивали – не то чтобы пьянство или другое что: общая страсть к бильярду, а бильярд неразлучен с посещением трактиров.

Их обоих наследил Перновский и хотя поймать не поймал, но в следующем же заседании совета заявил, что воспитанник дворянского пансиона Петр Зверев и ученик гимназии Василий Теркин посещают трактиры.

Теркина Перновский особенно донимал: никогда не ставил ему «пяти», говорил и в совете, и в классе, что у кого хорошие способности, тот обязан вдесятеро больше работать, а не хватать все на лету. С усмешкой своего злобного рта он процеживал с кафедры:

– Университетское образование – не для всех, господа. Только избранные должны подниматься до высших ступеней.

А всем отлично было известно, что сам он – сын дьячка; и эти «рацеи» вместе с «пакостными» отметками делали иной раз то, что весь класс был к концу его урока в настроении, близком к школьному бунту.

Теркину он начал было говорить «ты», желая, видно, показать ему, что тот, как мужицкий сын, должен выносить такое обращение безропотно. Пошли к инспектору, – даже не допустили Теркина, – и сказали, что они этого за своего товарища выносить не могут.

Инспектор попросил «аспида» не говорить Теркину «ты». После того Перновский каждый раз, как вызывать его, только тыкал пальцем по направлению к первой партии и кидал:

– Теркин!.. К доске!

Отвечать у доски считалось почти унижительным.

ХП

Заняли они с Зверевым у Виттиха перед зимними вакациями – один пять рублей, другой – десять.

Сильно захотелось Теркину повидаться со своими; уроки как-то не задавались в ту зиму, просить отца о присылке денег он не хотел, да и хорошо знал, что не из чего.

Взял он десять рублей, съездил, сvez старухе, названной матери, фунтик чаю; вернулся оттуда без всякого подарка, кроме разной домашней еды. Уроки опять нашлись, но расквитаться с долгом ему нельзя было тотчас же после Нового года. Он извинился перед Виттихом. Тот ничего, балагурил, сказал даже:

– Вы-то бедный, а вот ваш товарищ, Зверев, – тому непрослительно быть неисправным. О своем долге он молчит.

Зверев мог бы, конечно, расплатиться. Он привез с собою больше тридцати рублей, да проиграл на бильярде. Теркин ему немного попенял.

– За мной не пропадет. Немчура небось знает, что я не нищий.

И вдруг узнают они, что на совете, где обсуждали полугодовые баллы за поведение, Теркин и Зверев получили всего три с плюсом; и постарался об этом добро бы Перновский, а то Виттих.

Он сказал при директоре и инспекторе:

– И Теркин, и Зверев с дурными склонностями – слова своего не держат. Ни тот, ни другой не отдают мне долга вот уже который месяц.

Целую неделю следили они за ним. Звереву, жившему в пансионе, было удобнее подглядывать, куда Виттих пойдет.

И выследили. Они его выждали за углом, – это было в сумерки, – и в узком темном коридорчике напали, со словами:

– Ябедничать!

– Полноте, господа! Полноте! Ваша судьба теперь в моих руках: стоит мне подняться к директору – и вы погибли!

Теркин ничего на это не сказал.

– Вот что, господа, – заговорил Виттих громким шепотом. – Вы, во всяком случае, погибли. Хотите пойти вот на что: что сейчас вышло – умрет между нами. Я буду молчать – молчите и вы!

В полутемноте Теркин не мог отчетливо видеть лиц Виттиха и Зверева, но ему показалось, что его приятель первый пошел на это, прежде чем спросил:

– Вася! как ты скажешь?

Что было ему сказать? Из-за него быть выгнанным, а то и того хуже – решительно не стоит.

– Поклясться-то поклянется, – выговорил он, – а выдать может, под шумок, разлюбезным манером.

– Ладно! Посмотрим! – сказал задорно Зверев, а сам был рад-радешенек, что история кончилась так, а не иначе.

Они оба были уверены, что ни одна душа ничего не видала и не слыхала. В классе Виттих вел себя осторожно и стал как будто даже мирволить им: спрашивал реже и отметки пошли щедрее. Как надзиратель в пансионе обходился с Зверевым по-прежнему, балагурил, расспрашивал про его деревню, родных, даже про бильярдную игру.

И так шло месяца два. Друг друга они успокаивали: Виттиху прямой расчет молчать. Откройся история, хотя бы и не через него, их выключат, да и ему хода не будет, в инспекторы не попадет.

Вообще он сделался добрее, и класс его полюбил, сравнивал с «изувером» Перновским.

Виттих и Перновский не терпели один другого. Из-за количества уроков они беспрестанно подставляли друг другу ножку. Перновский читал в старшем отделении. На первые два года по его предмету бывал всегда особый преподаватель, всего чаще инспектор или директор.

А тут Виттих захватил себе ловко и незаметно и эти часы; Перновский еще ядовитее возненавидел его, хотя снаружи они как будто и ладили.

В начале поста дядьку, старого унтера Силантия, за продолжительные провинности уволили. В день его ухода из пансиона он, сильно выпивши, пошел прощаться с воспитанниками и с учителями. Начал он с наставников – их было трое; у всех был, кроме Виттиха. И, прощаясь с Перновским, говорил ему:

– Вы, Фрументий Лукич, язвительный человек. И ко мне всегда были не в пример строги. А я вот пришел прощаться с вами; к господину Виттиху, хоть тот и подобрее, я не пойду.

И тут же Силантий рассказал спьяна, что он собственными ушами слышал, какой между воспитанниками и Виттихом состоялся уговор.

Силантий хоть и говорил, что Виттих добрее, но он на него всего больше был зол и, зная его нрав, подозревал, что из-за «оговоров» Виттиха его разочли.

Для Перновского это было слишком на руку, да он и помимо того не упустил бы никогда ничего подобного без разоблачения.

Он доложил директору и предупредил, по-товарищески, своего соперника. Директор хотел сначала замять дело, но через того же Перновского узнал, что и в классах и в дортуарах об этом уже пошли толки.

– Ну, Вася, мы пропали!

На этот возглас приятеля Теркин, не колеблясь ни секунды, ответил:

– Теперь надо осрамить Перновского при всех. Давай бросать жребий.

Сделали они нарезку на одной из «семилок» и бросили их в фуражку, встряхнули раза два, и уговор был – в один миг выхватить монету.

С нарезкой вынул Зверев и побледнел, но притворился, что он «битк/а», и вскричал:

– Я так я!..

Но не выдержал и чуть не расплакался.

– Страшно? – спросил его Теркин.

– Страшно, Вася...

Зверев схватил его за руки, хотел поцеловать и разрюмился окончательно.

– Тебе все равно отвечать. Коли исключат тебя – вот тебе крест, мамаша тебя не оставит!..

– Ну, ладно! Только смотри, Петька: я себя не продаю ни за какие благостыни... Будь что будет – не пропаду. Но смотри, ежели отец придет в разорение и мне нечем будет кормить его и старуху мать и ты или твои родители на попятный двор пойдете, отрешиваться станете – мол, знать не знаем, – ты от меня не уйдешь живой!

И так грозно он это сказал, что Зверев начал креститься и клясться. Ему даже противно стало.

– Ладно. Завтра же! Фроша меня вызовет к доске наверняка.

ХІІІ

На второй урок пришел Перновский и первым же вызвал Теркина к доске.

Землистые щеки Перновского, его усмешка и выражение глаз, остановившихся на нем, заставили его покраснеть. У него даже заволгло зрение, и он в два скачка очутился у кафедр...

Звуки ругательного слова гулко раздалась в воздухе... Учитель вскочил, схватился одной рукой за угол кафедры, а другой оттолкнул Теркина...

Началось дело. Сидение в карцере длилось больше двух недель. Допрашивали, делали очные ставки, добивались того, чтобы он, кроме Зверева, – тот уже попался по истории с Виттихом, – выдал еще участников заговора, грозили ему, если он не укажет на них, водворить его

на родину и заставить волостной суд наказать его розгами, как наказывают взрослых мужиков. Но он отрезал им всего один раз:

– Я один надумал. Ни Зверева, ни кого другого я в это не впутывал.

Зверева он по второму делу все-таки не выгородил: ясно было, что и тот хотел отомстить Перновскому.

Отцу Теркина, Ивану Прокофьеву, не давали знать и не вызывали его больше недели. Потом ему написал один из товарищей сына.

Старик приехал, больной, без денег, кинулся к начальству, начал было, по своей пылкой натуре, ходить по городу и кричать о неправде.

И с приемышем своим ему не позволяли видаться в первые дни.

Теркин заболел не притворно, а в самом деле, и его положили в лазарет при пансионе, в особой комнате, куда остальных, кто лежал из воспитанников, не пускали.

У отца он, когда тот пришел к нему, стал горячо просить прощение.

– О вас с мамынькой, – он выговаривал по-деревенски, когда был со своими, – не подумал, тятенька, простите! Ученье мое теперь пропало. Да я сам-то не пропал еще. И во мне вы оба найдете подпору!.. Верьте!..

И когда он эти слова говорил Ивану Прокофьичу, то совсем и не подумал о клятвах Зверева насчет денежной поддержки его старикам. Не очень-то он и впоследствии надеялся на слова Зверева, да так оно и вышло на деле.

Иван Прокофьич, прощаясь с приемышем, сказал ему: – Вася!.. Ты хоть не кровный мой сын, а весь в меня! Мать сильно сокрушалась, лежала разбитая, целые дни разливалась-плакала. Это Теркина еще больше мозжило, и как только уехал домой отец, ему начало делаться хуже. Хоть он все время был на ногах, но доктор определил воспаление легкого.

Бред начался у него. Он слег и добрую неделю то и дело терял сознание. Его перестали вообще беспокоить.

Зверева просто исключили, без права принимать в ту же гимназию; хлопотали отец и губернский предводитель. Да и не хотелось начальству, чтобы разнеслась история с Виттихом. Виттиха, однако, уволили через два месяца, а Перновский сам подал прошение об отпуске и перевелся куда-то далеко, за Урал.

После кризиса Теркин стал поправляться, но его «закоренелость», его бодрый непрклонный дух и смелость подались. Он совсем по-другому начал себя чувствовать. Впереди – точно яма. Вся жизнь загублена. С ним церемониться не будут, исполнят то, что «аспид» советовал директору: по исключении из гимназии передать губернскому начальству и отдать на суд в волость, и там, для острастки и ему, и «смутьяну» Ивану Прокофьеву, отпустить ему «сто лозанов», благо он считал себя богатырем.

С каждым днем своего выздоровления все сильнее убеждался он в том, что так именно и будет. Сначала высекут в волостной избе, продержат в холодной, а потом приговор постановят: сослать его на поселение.

Ему это представлялось ярко, в образах. Он видел рожи всех врагов Ивана Прокофьева и вожakov и горланов из гольтыбы, слышал их голоса на сходке. Давно они лютою злобою дышат на его отца, не разумея в своей тупости и подлости, что он один на всем селе истинный радетель за правду и справедливость. Да им какое до этого дело!.. Такого случая унижить и донять Ивана Прокофьева сход не упустит, а в судьях сидят его отъявленные «вороги»: Павел Рассукин да Поликарп Стежкин. И голова – их человек, плут, подлая душонка, Степан Малмыжский. Тот на всякое гнусное дело пойдет, только бы ему выслужиться перед начальством.

Не за себя его страшило все это, а больше за стариков. Их это убьет. Иван Прокофьев не стерпит, поднимет гвалт, проштрафится, его самого могут сослать. Старуха умрет с горя, в нищете.

Потом и за себя ему делалось страшно и тяжело до нестерпимого отчаяния. Целые ночи напролет он метался один на своей лазаретной койке.

Ведь у него теперь никаких прав нет!.. Будут его «пороть». Это слово слышит он по ночам – точно кто произносит над его ухом. Мужик! Бесправный! Ссылный по приговору односельчан! Вся судьба в корень загублена. А в груди трепещет жажда жизни, чувствуешь обиду и позор. Уходит навсегда дорога к удаче, к науке, ко всему, на что он считал уже себя способным и призванным.

На пятый день таких мук его на рассвете пронзила мысль:

«Лучше с собой покончить!»

Ее он не испугался. Как ни велик будет для его стариков удар – самоубийство приемного сына, – но все-таки он не сравнится с тем, через что они могут пройти, если его накажут в волости и сошлют...

Да и большой храбрости не нужно, чтобы с собою покончить.

Мысль начала входить в его мозг, как входит штопор в пробку, стойко, упорно, пока не довела до бесповоротного приговора воли.

Но револьвера негде достать. Веревку легче, но как? Подкупить сторожа? При нем состоял особый унтер, суровый и полуглухой. С ним надо кричать. Из товарищей к нему никого не пускали.

Голова работала днем и ночью. Жажда покончить с собою все росла и переходила в ежеминутную заботу. Выздоровление шло от этого туго: опять показалось кровохарканье, температура поднялась, ночью случался бред. Он страшно похудел; но ему было все равно, – только бы уйти «от жизни».

XIV

При лазарете состоял фельдшер, по фамилии Терентьев, из питомцев воспитательного дома. О его происхождении Теркин давно знал, и это их сблизило. Ведь и его отнесла бы мать в воспитательный, родился он не в селе, а в Москве или в Петербурге.

Терентьев ухаживал за ним и жалел его.

И доктор, когда болезнь Теркина выяснилась, требовал от начальства гимназии, чтобы Теркина оставили в покое, не запугивали его и не держали бы как арестанта.

Терентьев давал Теркину книжки, видя, что он впадает в уныние, по целым дням лежит или ходит молча. В госпитале домашняя аптечка помещалась рядом, в проходной комнате.

С лекарствами этой аптечки Теркин хорошо ознакомился. Тут были все невинные средства, но он разглядел в углу и порядочную склянку с опиумом.

Частенько шкафчик оставался без ключа. Да фельдшер и не мог иметь никаких подозрений. Не станет же больной воровать спирт и разбавлять его водой – он не пьющий, да и вообще, по его мнению, «натура благородная и пылкая».

Не трудно было Теркину отлить половину опиума в пузырек и поставить склянку в угол так, чтобы она не бросалась в глаза.

Вечером того дня доктор заехал часу в девятом, посмотрел температуру, справился об аппетите и прописал микстуру против бессонницы.

Уходя, он сказал ему, выслав фельдшера:

– Послушайте, Теркин... не кривя душой, я могу вас продержать здесь до Пасхи. Но не дольше. Может быть, если б вы торжественно повинились...

– Ни за что!

Доктор, кажется, испугался выражения его лица и поспешил прибавить:

– Как знаете. Только здоровье-то надо восстановить. Что бы с вами ни случилось, это ваш единственный капитал.

В девять ушел фельдшер; сторож ночевал рядом, в передней. В четверть десятого Теркин сразу выпил все, что было в пузырьке. Думал он написать два письма: одно домой, старикам, другое – товарищам; кончил тем, что не написал никому. Чего тут объясняться? Да и не дошли бы ни до стариков, ни до товарищей письма, какие стоило оставлять после своей добровольной смерти.

Он ждал ее храбро, рука у него не дрогнула, когда выливал в рот густую жидкость. Чуть не поперхнулся, но проглотил все.

И терпел, пока была возможность... А все-таки не отравился. Начались припадки; сторож побежал за фельдшером; тот тотчас же распознал, в чем дело, но не донес. Даже доктора просил от себя – затушить дело, не доводить до директора.

Доктор согласился, только заметил Теркину:

– Не следовало бы нас подводить, господин Теркин.

Больше ничего не прибавил; приказал фельдшеру наблюдать за больным как можно внимательнее; высказал даже с глазу на глаз опасение, не начинается ли у Теркина какой-нибудь болезненный процесс в мозгу.

Терентьев этого не думал, но он воспользовался словами доктора.

– Знаете что, Василий Иванович, – заговорил он раз под вечер, сидя на краю койки больного. – Вам не уйти с вашим характером от большого наказания... Вы это чувствуете... Недаром вы на свою жизнь посягали. Одно средство, – продолжал он, – выиграть время и, быть может, совсем оправдаться – это... это...

Он не сразу выговорил.

– Что такое? – спросил Теркин, не ожидая ничего стоящего.

– Могут ваше состояние признать ненормальным... понимаете? У нашего Павла Сергеевича, – так звали доктора, – есть некоторые сомнения на этот счет.

Фельдшер пристально и долго на него смотрел. В глазах было желание помочь бедняге, разумеется, так, чтобы тот его не выдал.

Ничего ему не сказал на это Теркин. Слова Терентьева запали ему в душу.

Еще две ночи без сна, – на него и хлорал уже плохо действовал, – и весь он запылал новой неудержимой злобой ко всему, что привело его к попытке самоубийства и казалось впереди розги волостного правления, может, и ссылку административным путем.

Подвернулся лазаретный унтер, стал за что-то ворчать. Он бросился на него, и если бы не прибежавший фельдшер, смял бы старика.

С того дня и Терентьев уже искренно подозревал, что он находится в «ирритации», близкой к припадкам бурного сумасшествия. Доктор склонялся к тому же мнению.

Болезнь уходила; Теркин ел и спал лучше, но с каждым днем он казался страннее, говорил ни с чем «несуразные» вещи, – так докладывал о нем унтер и не на шутку побаивался его.

Даже по прошествии десяти с лишком лет Теркин не мог дать себе ясного отчета в том, чего в нем было больше – притворства или настоящей психопатии? По крайней мере, в первые дни после того, как он бросился на лазаретного сторожа, и доктор с Терентьевым начали верить в его умственное расстройство; быть может, одна треть душевного недомогания и была, но долю притворства он не станет и теперь отрицать. В нем сидела тогда одна страстная мысль:

«Все равно погибать!.. Так лучше уже, раз не привелось покончить с собою в лазарете, отдалить минуту расправы, если удастся попасть в сумасшедший дом. Там или он покончит с собою, или ему удастся, по прошествии года, уйти от позорящего наказания. Просто оставят его в покое и выпустят на волю, как неопасного душевнобольного».

Ему довольно легко удавалось проделывать разные «штуки». Он и сам не ожидал, что окажутся в нем такие таланты по этой части; ничего особенно скандального он не выкидывал, но целый день говорил вслух, пел или упорно молчал и смотрел в одну точку... Терентьев уже окончательно решил, что его «юный благоприятель» – совсем «швах».

Доктор практически не занимался психиатрией, но так же, как и фельдшер, читал много «новых книжек» и, по доброте и гуманности своей, признавал для такого пылкого субъекта, как Теркин, достаточно мотивов, чтобы молодой душевный организм был глубоко потрясен.

Он не настаивал на формальном освидетельствовании и перевел Теркина в земскую больницу, где состоял ординатором по другому, терапевтическому отделению.

Ординатор, заведовавший палатами умалишенных, заинтересовался Теркиным. Это был фанатик своей науки, склонный видеть душевное расстройство во всяком нервном индивидуе. Он возмущался тем, что больница на его отделении содержалась скаречно, грязно, по-старинному, и как он ни бился – не мог ее без средств и без помощников поставить на другую ногу. И прислуга привыкла обходиться с больными грубо. Теркин сейчас же испытал это на себе. Его повели в ванную. Он, должно быть, нашел нужным «показать себя» и толкнул одного из дядек. Те его побили. Он пришел в неистовство, и на него надели «рубашку», прежде чем доктор явился на зов дежурного фельдшера.

Его поместили хоть и не в темную, но в номер без мебели, с одним тюфяком на полу, в каких содержатся «буйные», и начали наблюдать над ним через дырочку в двери.

Лежание на грязном тюфяке, без белья, и снование взад и вперед по узкой и мрачной конуре так его измучили, что он изменил свою систему, попросил прощения у доктора и обещал быть тихоньким.

Свое слово он сдержал, и ему не нужно было особенно усердствовать по части притворства. Психиатр уверовал в то, что имеет дело с характерной формой «спорадического аффекта», которая может перейти в манию, может и поддаться лечению. Он говорил везде, в клубе, у знакомых, у товарищей по практике, что мальчик Теркин был уже подвержен припадкам, когда на протяжении нескольких месяцев два раза набуянил.

Так протянулось еще два месяца. Вдруг психиатра назначают директором образцового дома умалишенных в одной из соседних губерний. Приехал Иван Прокофьев и стал умолять доктора перевести и его Васю туда же. С отцом Теркин мрачно молчал, но ему удалось написать и передать ему записочку в три слова: «Папенька, все обойдется».

XV

Жарким летом водворили его в образцовом сумасшедшем доме.

Обширная усадьба, несколько деревянных бараков, два-три больших каменных корпуса, паровая машина стучит целый день, освещение электрическое, в кухне все стряпают на пару, даже жаркое выходит готовым из парового шкапа; вокруг поля есть запашка, рига, скотный двор, кузница. В каждом отделении – мужском и женском – мастерские. Буйные особо, и у них садики, где их держат в хорошую погоду почти целый день. Ему предложил директор выбрать какое-нибудь ремесло. Он взял кузнечное.

С детства его влекло к кузнецам, «ковалям», как говаривали в его селе Кладенце и в окружной местности, да и физической силы у него было достаточно.

Директор не сразу согласился. Подержали его сперва на испытании в другой мастерской, столярной, сказали ему: – Здесь полегче работа, да и поинтереснее, а народ все тихий.

В первые дни Теркин не верил своим глазам: ни мрачного номера с вонючим тюфяком, ни решеток, ни зверских дядек; ходи, где дозволено, по двору, по саду, работай в поле, на гумне или в мастерской. Он боялся заглядывать в отделение буйных, и в то же время его тянуло туда.

Забор садика женщин шел вдоль межи и неглубокого рва. По ту сторону начиналась запашка. Раз он приложился глазом к щели... Стоял яркий знойный день. Солнце так и обливало весь четырехугольник садика. Только там не было ни одного деревца. Впоследствии он узнал, что женщины выдергивали деревца с корнями. Начальство побилось-побилось, да так и бросило.

Картина на первый взгляд самая обыкновенная. Бродят женщины, иные в ситцевых распашных капотах, а то просто в длинных рубахах, простоволосые или покрытые платками; некоторые о босу ногу сидят и на земле или валяются, поют, бормочут. Но когда он, не отрывая глаза от щели в заборе, стал вглядываться в этих женщин, еще незнакомый ему ужас безумия заползал ему внутрь, и губы его явственно вздрагивали.

Прямо к нему лицом лежала на разрытой земле, в рваной рубаше, баба лет за сорок, ожирелая, с распущенными седеющими волосами, босая, очень грязная. Лежала она наполовину ничком, левой рукой ковыряла в земле и выла.

Этого вытья он не забудет до смертного часа, ни землистого лица безумной бабы, ни блеска глаз, уходивших с выражением боли и злобы в ту сторону, откуда он глядел в расщелину забора.

И другая, вправо, около угла, – тоже в рубашке, простоволосая и босая, – прислонилась к забору, уперлась лбом о бревно и колыхалась всем телом, изредка испуская звуки – не то плач, не то смех. Это было на расстоянии одного аршина от того места, где он стоял.

Впервые пронизала его мысль, грозная и ясная, точно смертный приговор:

«И ты можешь таким же быть, особенно здесь!»

Была минута, когда он готов был побежать к директору, упасть перед ним на колени и закричать:

– Спасите!.. Я лжец, обманщик, я только притворяюсь душевнобольным! Выдайте меня начальству! Пускай оно делает со мною, что хочет!

Ведь здесь он либо действительно помутится, либо кончит самоубийством, украдет веревку или расшибет себе голову о наковальню, когда ему позволят заняться кузнечным делом.

Но другая, такая же почти строгая и ясная мысль обдала его холодом:

«Беги, кайся! Так тебе и поверили! Мало здесь подневольных жильцов, доказывающих, что они в здравом уме и твердой памяти! Ты повинисься, а твою повинную господа ученые психиатры примут за новый приступ безумия».

Ничего не мог он возразить веского против такого довода.

Он сам видел, что возможно и без особенной ловкости ввести в обман докторов. Разубедить же их будет гораздо мудренее. Если директор догадывался, что в нем на две трети, а то и вполне действует притворство, – надо выдержать, помириться по малой мере с полугодовым сроком, исподволь сбрасывать с себя притворное тихое безумие, помочь директору, если тот желает заблуждаться из доброты и жалости к нему. Протянется целый год – и тогда один факт, что он высидел так долго в сумасшедшем доме, покроет все его проступки. Исключить исключат, но без волчьего паспорта.

Позднее он перестал бояться своих товарок по заключению; только к буйным мужчинам никогда не заглядывал.

Тихие женщины даже интересовали его. С самыми курьезными он водил дружбу, насколько возможно было под надзором. За ним перестали пристально следить со второго же месяца после того, как его пустили в кузницу.

До сих пор живьем прыгают перед ним две фигуры. Одна то и дело бродила по роще, где тихие сидели и в жар некоторые шили или читали. Она не могла уже ни работать, ни читать. На голове носила она соломенную шляпу высоким конусом, с широкими полями, и розовую ситцевую блузу. Выдавала себя за княжну Тараканову.

– Я не потонула, – повторяла она, – князь Орлов хотел меня загубить, но он же и погиб от любви ко мне.

И воображала, что все изнывали от любовной страсти к ней, хотя и скрывали это всячески.

Другая, в дворянской общей палате, тихая, чопорная, из старых дев, разорившаяся по проискам родственников. Обо всем она говорила довольно толково и всегда отборными фразами; но стоило только какому-нибудь стороннему посетителю зайти в палату, она останавливала его и жаловалась на то, что ее вещи продавали сегодня утром в соборе.

– В соборе? – изумленно переспрашивал ее посетитель.

– Да-с, за ранней обедней, мою гипюровую мантилью и шубку продавали с аукционного торга.

– Вы ведь не были там?

– Нет-с; но мне прибежали доложить, и мантилью всю искромсали, бахрама общипана, из шубки мех повыдерган.

Уходил посетитель – она становилась рассудительна и даже хорошо умела гадать, помнила, что каждая карта обозначает; могла раскладывать и гранпасьянс.

В столярной мастерской его поставили за один верстак с молодым еще сельским «батюшкой».

Облик священника поразил и привлек его сходством с одною фигурою на картине Иванова – Теркин видел хорошие ее фотографии.

Звали его отец Вениамин. Он начал с религиозных галлюцинаций, слышал ночью голоса, то райские, то дьявольские; проходил и через манию преследования.

Когда Теркин встал против него за верстак, отец Вениамин был уже на пути к излечению, – так думали директор и ординатор, – но держал он себя все-таки странно: усиленно молчал, часто улыбался, отвечая на собственные мысли, говорил чересчур тихо для мастерской, где стоял всегда шум от пил, рубанков, деревянных колотушек, прибивания гвоздей железными молотками. Он точно чего-то боялся и с своим новым товарищем по верстаку разговаривал односложно, в виде маленьких вопросов, и то когда было меньше народу в столярной. В глазах его Теркин не замечал ничего враждебного себе; напротив, больной взглядывал на него иногда с улыбкой, показывал ему, как обходиться с инструментами, называл их всегда отрывисто и быстро.

– Это шерх/ебель, – скажет он вдруг и ткнет пальцем, длинным и прозрачным, в рубанок особой фирмы. – Вон тот зынцубель.

Раз прибавил:

– И кто это надавал таких имен! Неблагозвучно!

Целыми днями Теркин наблюдал его про себя.

Перед ним неизменно, в течение нескольких недель, стоял образец настоящего душевно-больного, тихого, способного выздороветь. Он не говорил и не делал ничего дикого или смешного; но чем больше изучал его Теркин, тем отчетливее выделялись перед ним мины, звуки, взгляды, движения, каких «не сочинишь» по собственному произволу. Он мог усвоить их себе. Все это ему пригодится. Но его не оставляла боязнь – вместе с игрой лица и манерой держать себя и самому не впадать в психопатию.

Нет-нет и поднимется в нем совесть, и он готов покаяться отцу Вениамину в своем притворстве. Тот действительно был страдалец, а он – обманщик. Его удерживало неприязненное чувство к «долгополой породе» еще с детства, когда он босиком бегал по улицам и издали кидал всякие обидные прозвища дьячкам и пономарям двух церквей села Кладенца.

Кое-что, однако, отлиняло на него, от работы за одним верстаком. И он стал говорить отрывисто и часто усмехаться без всякого повода. Он знал, что это ему не повредит.

XVI

В кузнице его поставили за одну наковальню с Капитоном, неизлечимым больным, из отставных солдат, бывшим всю свою жизнь кузнецом, сначала в деревне, потом в уланском полку.

Капитона доктора считали совсем безобидным, любили его за веселый нрав и послушание.

Большого роста, еще не старый, с обличьем солдата, в бородке, под гребенку остриженный, он то и дело смеялся и рассуждал за работой; в свободные от работы часы ходил подбоясь развалистой поступью, туда и сюда, в поля, на гумно, в другие мастерские, вызывался молотить, или веять, или косить, смотря в какую пору. Он же исправлял и всякие починки по тележной части.

Его узкие темные глазки, всегда прищуренные от света, слезились и подмигивали. Капитон никогда не носил шапки, даже зимой, и постоянно кожаный фартук поверх синей холщовой блузы.

С Теркиным у него с первого же дня пошли лады.

– Тебя как звать?

Капитон только что его учил: ловчее колотить по раскаленному куску железа; они «наваривали» сломавшуюся тележную ось.

– Василий.

– А по батюшке, значит?

– Иваныч.

– Так вот я тебе что скажу, Иваныч: ты меня слушайся, не перечь, и выйдет из тебя кузнец заправский.

В том, что Капитон говорил по своему главному «рукомеслу», Теркин ничего не мог подметить безумного. Но как он это говорил – другое дело. Скажет одну фразу дельно и даже с тонким пониманием работы, и сейчас же, как только ушел в сторону, и начнется возбужденная болтовня, всегда одного и того же характера.

Капитон был фантазер на хозяйственные темы.

Все бы он тут переделал по-своему. Он не бранил порядков, какие заведены по полевым работам и мастерским, но устроил бы это по-другому.

И вот в таких-то фантазиях и сказывался его «пунктик». Совсем нелепых, диких вещей, если их брать отдельно, у него не выходило; но все его мечтания принимали огромные размеры, и всего чаще трудно было догадаться, о чем, собственно, он толкует, тем более что Капитон беспрестанно вплетал воспоминания из полковой жизни по городам и селам, в лагерях, на маневрах, разговаривал вслух с своими товарищами и начальниками, точно будто они стояли тут перед ним.

И работа с Капитоном могла оказаться Теркину на руку.

Через два-три месяца он отлично овладел обеими формами душевного расстройства: и молчаливым, как у отца Вениамина, и болтливо-возбужденным, как у отставного унтер-офицера Капитона Мусатова. Он держался первой формы: она была удобнее и вернее. Директор вряд ли подозревал его: обращался с ним ласково, предлагал даже перевести в привилегированное отделение и бросить тяжелое кузнечное дело.

– Мне так хорошо, спасибо, – отрывисто благодарил его каждый раз Теркин и больше ничего не говорил.

До него доходило через дядек, что директор его хвалит за трудолюбие, за нежелание поступить на положение привилегированных больных, читать книжки, ничего не делать, жаловаться и всячески надоедать.

Его и не тянуло к книжкам. Они ему напомнили бы только ненавистную школу. И разговоров с образованными больными он избегал, хотя многие лебезили, выпрашивали его, кланчили папиросочку, приставали с разными своими глупостями, ругали докторов.

На нескольких он дал окрик, и его сторонились.

Так протекло около полугода. С наступлением зимы жить стало теснее; приходилось сидеть частенько в камерах. Кузнечная работа сократилась наполовину. Попросил и он «книжки почитать». Надежда высидеть благополучно больше года и выйти на волю без волчьего паспорта все крепла в нем.

Своим старикам он писал каждый месяц по несколько строк, успокаивал их, но воздерживался от всего, что могло показаться подозрительным, слишком умным и складным для душевнобольного.

После Нового года старший ординатор обменялся местом с врачом, приехавшим из Петербурга.

Теркин, как только тот в первый раз пришел к ним в камеру и задал ему два-три вопроса, почувал, что это – будущий враг.

Его потрясло и то, что психиатр, по фамилии Несветов, напоминал учителя Перновского и тоном и даже лицом. И он оказался «из кутейников».

Предчувствие не обмануло. Несветов узнал историю юноши и выбрал его предметом своих упорных наблюдений.

По несколько раз на неделе он начал подвергать его настоящим допросам.

Теркин увидел, что Несветов не верит в его психическую болезнь и хочет ловить его на противоречиях научного характера.

Но какие это противоречия? Он не мог знать. Книжек по психиатрии ему не доводилось читать, а здесь их ему и подавно не дадут. В них он, разумеется, нашел бы, что с чем вяжется и каких проявлений держаться, если остановишься на одном каком-нибудь типе умопомешательства.

Когда Несветов взбесит его ехидным вопросом, он пускал в ход возбуждение, болтал всякий вздор, вроде своего приятеля Капитона; доходил раз до попытки на большую «ирритацию». Но на другой день проницательный психиатр сказал ему:

– Теркин! вы недостаточно искусно притворяетесь. У вас то из одной оперы, то совсем из другой... Лучше было бы сознаться по доброй воле; а то не нынче завтра вас освидетельствуют построжее.

Он это сказал с глазу на глаз и директору вряд ли докладывал в таком именно смысле. Опасность росла с каждым днем. Стал он замечать, что и директор иначе с ним держится и совсем не те вопросы задает, как прежде.

Злобное чувство, сродни тому, что жило в нем и тогда еще к Перновскому, подсказало ему доказать психиатру свое безумие.

Ударить его чем ни попало сзади по мозжечку так, чтобы психиатр сам попал в сумасшедший дом... Что ему за это будет? Он – невменяем; иначе зачем же его держать здесь? Ну, поддержат в секрете, и все обойдется; просидит он лишний год, зато никто уже не будет сомневаться, здоров он или болен... Это лучше, чем подбить другого, хоть бы того же Капитона. И тому новый доктор не нравился.

Но врач был прозорлив. И он почувал в свою очередь, какие чувства возымел к нему Теркин, и стал донельзя осторожен.

Одно время и совсем его как бы не замечал.

Директор к посту уехал в командировку за границу осматривать образцовые дома и лечебницы; вернуться должен был уже к Троице. Несветов заступил его место.

Когда директор прощался с больными, он Теркину сказал, глядя на него пристально:

– Вашим физическим здоровьем я доволен. Может быть, и вообще вам достаточно сидеть у нас...

«Понимай, мол, как знаешь!»

Несколько ночей ломал себе Теркин голову: не начать ли самому проситься на выписку? Но он боялся, что Несветов подставит ему ногу.

Через неделю, не больше, Несветов пригласил местного крупного чиновника по медицинской части, подвел его к Теркину и стал задавать самые коварные вопросы.

Отвечать на них здраво Теркин не решился и повторил опять один из своих приемов: то молчал, то возбужденно болтал.

Доктора переглянулись, и в конце месяца его освидетельствовали. Несветов дал от себя подробный отзыв, что он считал Теркина притворяющимся с самого поступления в сумасшедший дом.

Он ссылался и на мнение директора. Другой ординатор подтвердил это.

На освидетельствовании Теркин держался ловко – целый год ученья не пропал даром. Но обличителю удалось убедить членов присутствия: его признали притворно больным и выдали опять на руки начальству.

От «волчьего паспорта» Теркин не ушел. Его выслали в село по этапу и выдали волостным властям, закоренелым «ворогам» его приемного отца, тогда совсем больного, впавшего в бедность, разоренного непомерными поборами с его домишка и заведения, шедшего в убыток.

И все испытанное прежде стусевалось перед тем, через что прошел он на родине, в селе Кладенце.

XVII

Ни отца, ни матери к нему не допустили, продержали больше недели в холодной на хлебе и на воде и повели в правление сечь.

Никогда его не наказывали розгами ни дома, ни в гимназии. И каждый раз, как он вспомнит всю сцену этой экзекуции, кровь бросится ему в голову и в висках забьются жилы.

Пустая горница в старом графском «Приказе», с лавками по стенам, два окна против двери, икона в правом углу. Серенький холодный денек. Горница не протоплена, и в ней он вздрагивает и видит на полу два пучка розог.

Тут старшина, сельский староста, двое судей, писарь, два десятника – они будут его наказывать.

Старшина, пройдоха и взяточник Степан Малмыжский – мелкий прасол, угодник начальства, сумевший уверить «горлопанов», что им только и держатся оба сельских общества, на которые разделено село Кладенец. Как ярко врезалась в память Теркина рыжая веснушчатая рожа Малмыжского и его «спинжак» и картуз на вате, сережка в левом ухе, трепаная двухцветная борода... Кажется, каждый волосок в этой бородке он мог бы перечесать. Стоит ему закрыть глаза – и сейчас же старшина перед ним как живой.

Двое судей в верблюжьих кафтанах. Оба – пьянчуги, из самых отчаянных горлопанов, на отца его науськивали мир; десятки раз дело доходило до драки; один – черный, высокий, худой; другой – с брюшком, в «гречюшнике»: так называют по-ихнему высокую крестьянскую шляпу. Фамилии их и имена всегда ему памятливы; разбуди его ночью и спроси: как звали судей, когда его привели наказывать? – он выговорит духом: Павел Рассукин и Поликарп Стежкин.

Они сидели около старшины, на правой скамье от двери.

Сельского старосту он не так отчетливо помнит. Он считался «пустельгой»; перед тем он только что был выбран. Но дом его Теркин до сих пор помнит над обрывом, в конце того порядка, что идет от монастырской ограды. Звали его Егор Туляков. Жив он или умер – он не знает; остальные, наверно, еще живы.

Жив и писарь Силоамский. Тоже из кутейников!.. Он был самым лютым ненавистником его отца. Тот без счету раз на сходках ловил эту «семинарскую выжигу» в мошеннических проделках и подвохах, в искажении текста приговоров и числа выборных голосов, во всяких каверзах и обманах. Но писарь держался прочно; без него старшина, полуграмотный, не мог шагу ступить, а судьи были вовсе неграмотные.

И наружность Силоамского, каким его увидел, войдя в горницу, мог бы Теркин нарисовать в мельчайших подробностях.

Среднего роста, сутулый, с перекошенным левым плечом, бритое и прыщавое лицо, белобрысые усики, воспаленные глаза и гнилые зубы, волосы длинные, за уши. И на нем был «спинжак», только другого цвета, а поверх чуйка, накинута на плечи, вязаный шарф и большие сапоги. Он постоянно откашливался, плевал и курил папиросу. Под левой мышкой держал он тетрадь в переплете.

– Ну-с, ваше степенство, – обратился к нему первый писарь, – не благоугодно ли вам будет разоблачиться?

Старшина и судьи переглянулись.

Язвительный тон писаря и его хриплый голос обдали Теркина холодом и жаром. Розги лежали перед ним. Если б он мог, он схватил бы за горло негодяя, который издевался над ним перед казнью.

Руки его стягивал кушак. Два десятника плотно налегли на него с обеих сторон.

– Господин старшина! – произнес он твердо. – С писарем вашим я не желаю разговаривать. Но от вас я вправе требовать ответа: по какому праву вы подвергаете меня такому наказанию?

– Права захотел! Вишь, какой шустрый! – зубоскалили оба судьи.

Старшина выговорил с усмешкой:

– А вот ты, милый друг, почувешь, по какому праву, когда тебя хорошенько отполосуют.

– Развязать? – спросил писаря один из десятников.

– И так побудет, – отозвался старшина, – а то еще драться полезет.

– От большой учености! – издевался писарь. Всякую премудрость проходил.

Десятники начали стаскивать с него пальто и расстегивать все, что нужно было.

Была минута, – он еще стоял, – когда ноги его дрогнули и похолодели. В глазах стало темнеть. Позор наказания обдал его гораздо большим ужасом, чем мысль потерять разум в сумасшедшем доме. Это он прекрасно сознавал.

– Что кочевряжишься! – крикнул ему кто-то. Ложись!.. Ты думаешь: в барчуки попал, так тебя и пальцем не тронь?.. Небось! Будешь знать, паря, как н/абольшим дерзить да потом блажь на себя облыжно напускать.

Он уже лежал на вонючей рогожке.

В воздухе свистнул размах розги. Он закрыл глаза и закусил губы до крови, чтобы не крикнуть.

И пролежал все время молча, судорожно переводя дыхание; слезы потекли у него из глаз под самый конец.

Не успел он одеться – уже с развязанными руками – в горницу вбежал отец его.

– Злодеи! Душегубы!..

Негодующие крики Ивана Прокофьева слышны ему до сих пор. И внешность отца осталась в его сердце, какою она была в ту минуту: широкое серое пальто, черный галстук, под самый подбородок, пуховая смятая шляпа, огромный рост, возбужденное неправильное лицо, выпуклый лоб с пробором низких волос, нос луковкой, огромные глаза, борода полуседая двумя мочалками.

Дело чуть не дошло до рукопашной. Отца скрутили тут же и повели в темную. И его опять посадили: в общем гвалте он замахнулся на одного из судей, когда тот так и лез на Ивана Прокофьева и взял было его за шиворот.

Их каждого особо продержали еще суток двое.

Сидя опять в темной, он ревел от злости и негодования, впадал в припадки настоящей ярости. Ничем уже нельзя было смыть позорного клейма.

Его «отодрали» розгами, как последнего пропойцу или воришку. Тогда ему не пришло ни разу в голову, что в той же горнице секли без счету самых тихих и безобидных мужиков только за то, что они вовремя не уплатили мирских поборов. Он на всю свою жизнь получил отращивание к этому «миру». Все, что он в журналах и газетах читал сочувственного крестьянской самоуправе, вылетело разом и перешло в страстное стремление – уйти из податного сословия во что бы то ни стало, правдой или неправдой; оградить себя службой или деньгами от нового позора.

Вместе с отцом отвели их домой. Старуха Домна Архиповна повисла ему на шею и лишилась чувств. Она и всегда была хилая и в молодости считалась «кликушей».

Первым словом отца было:

– Ну, Вася! Не могу я тебя похвалить за то, что ты больше года личину на себе носил, – это, брат, хуже всего остального. Ведь вороги-то мои хотели донять меня тем, что над тобой Шемякин суд справили!

Пришлось бы им совсем плохо, если б не вступился за них новый член по крестьянскому присутствию. Отца на время оставили в покое, а его отпустили на сторону.

Задержи его тогда мир, не выдай ему паспорта – он бы бежал.

Через год достал он на дальней железной дороге место и быстро пошел в гору. Один из подрядчиков взял его к себе в подручные с процентом сверх жалованья.

Тем временем отца сослали по приговору на поселение, как «смутьяна», возмущающего против властей, когда он всю свою жизнь стоял за строжайшее исполнение закона.

Только через три года удалось ему вернуть его с поселения, с опухшими ногами, с водянкой в груди.

Продали старики свой давно выкупленный домишко с ветхим сараем, где было когда-то спичечное заведение. Он перевез их в город. Через полгода похоронил отца. Старуха поскрипела еще года два. Он ей выстроил избушку около того кладбища, где лежит «смутьян»...

XVIII

– Задумались, Василий Иванович?

Теркина разбудил от дум, всколыхнувших все его прошлое, возглас капитана Кузьмичева.

Тот стоял над ним, широко расставив ноги, в том же картузе с ремешком, больших сапогах и коричневой визитке.

– Да... Вышла у меня здесь курьезная встреча!

– А чайшку грешного не благоугодно?

На это Теркин ничего не ответил. Он, кажется, и не расслышал приглашения капитана.

Они сделали несколько шагов к корме.

– Андрей Фомич! – начал Теркин и оглянулся. Вы заметили пассажира в камлотовой шинели? Чинушом смотрит?

– С орденом на шее?

– Да, да!

– Как же не приметить!

– Он где сел?

– В Ярославле, кажется. И какое, я вам скажу, животное! Между Василем и Казанью я его чуть не посадил на берег, в десятом часу вечера. У нас там тоже заминочка вышла. Посидели на перекате, так, малость... с четверть часа, не больше. Так как бы вы думали?.. Этот чинуш начал вдруг вмешиваться и ко мне с требованиями предъявляться. Как, мол, вы так оплошно действуете?.. Я заявление сделаю в газетах. Ах, мол, ты такой-сякой! Я на него и прикрикнул маленько. Он не унялся. Сейчас чином величаться стал. Статский советник он, видите ли; изволит проследовать в Сибирь!..

– Он! Он! – перебил Теркин рассказ капитана.

– Вы нешто его знаете?

– А как бы вы думали, кто эта камлотовая шинель?

Капитану было известно кое-что из прошедшего Теркина. Об ученических годах они не так давно говорили. И Теркин рассказывал ему свою школьную историю; только вряд ли помнил тот фамилию «аспида». Они оба учились в ту эпоху, когда между классом и учителями такого типа, как Перновский, росла взаимная глухая неприязнь, доводившая до взрывов. О прежних годах, когда учителя дружили с учениками, они только слыхали от тех, кто ранее их на много лет кончали курс.

Кузьмичев не догадывался, однако.

– Тот самый Перновский, из-за которого меня выгнали. Вы помните?

О том, что его наказывали розгами в волости, Теркин никогда и никому не признавался.

– Быть не может!

– Я не могу ошибиться. Да он и мало изменился.

Они повернули к рубке.

– И у вас, поди, всю внутреннюю перевернуло от одного взгляда на этого субъекта?

– Поверите ли, – отозвался Теркин, сдерживая звук голоса, – ведь больше десяти лет минуло с той поры – и так меня всего захватило!.. Вот проходил и просидел на палубе часа два. Уж солнце садиться стало. А я ничего и не заметил, где шли, какими местами.

– Так, так, – говорил ласково капитан и глядел игривыми глазками на Теркина. – Понимаю вас, Василий Иванович...

– Теперь такой господин для меня – мразь и больше ничего!.. Но надо же было этой физии очутиться предо мной вон там в ту минуту, когда я был в самом таком настроении.

Теркин не досказал. О любви своей он не начал бы изливаться даже и такому хорошему малому, как Кузьмичев.

С какой стати? Во-первых, капитан в скором времени может попасть в его подчиненные, а во-вторых, Теркин давно держался правила – о сердечных делах не болтать лишнего. Он считал это большой «пошлостью».

Солнце совсем уже село за луговой берег. Теркин не ошибся: два часа пролетели незаметно в образах прошлого.

– Где же он? – спросил капитан, оглядываясь в обе стороны.

– Наверно, чай пьет.

– Не хотите ли спуститься в общую каюту? Мне занятно было бы при вас, Василий Иванович, пошпибить с него форсу... Пройтись в комическом роде...

– Пойдемте!

В громком возгласе Теркина вырвался наплыв еще не заснувшего чувства. Он не мог отказать себе в удовольствии устроить встречу Перновского с своим бывшим питомцем.

Может быть, в другое время и не на пароходе, а где-нибудь в театре, в вагоне, у знакомых, он бы и оставил в покое «аспида». Но к давней обиде, разбереженной встречей с ним, прибавилась еще и досада на то, что фигура в камлотовой шинели вышибла его из сладкомечтательного настроения.

Спускался он в каюту, и по всему телу у него пошли особого рода мурашки – мурашки задора, приготовления к чему-то такому, где он отведет душу, испробует свой нрав! Он знал, что в нем есть доля злобности, и не стыдился ее.

В каюте стоял двойственный полусвет. Круглые оконца пропускали его с одной стороны, другая была теневая, от высоких холмов. Пароход шел близко к берегу.

Направо и налево тянулись узкие обеденные столы. За левым сидели два купца и офицер и пили пиво. На дальнем углу правого стола действительно пил чай пассажир с крестом на шее.

Шинель он положил на табурет и снял картуз. Голова оказалась лысая; передние волосы он слева направо примазывал к лысине на старинный фасон, с низким пробором над левым ухом.

Теркин и капитан вошли, остановились и обменялись взглядами.

– Экземпляр! – шепотом сказал капитан и крикнул в дверку буфета: – Илья!.. Снаряди-ка нам чаю порцию. Со сливками, и сухарей, коли есть, а то так булку.

– Слушаю-с, Андрей Фомич, – откликнулся лакей из буфета.

– Туда пройти? – спросил полушепотом капитан и показал рукой на тот угол, где разместился Перновский.

Теркин протеснился между столами и диванами и сел в аршин расстояния от Перновского: капитан – против него, у одной из колонок, поддерживающих потолок каюты.

Оба они обнажили головы. Без шляпы Теркин сейчас же делался моложе года на два, на три. У капитана маковка редела.

Кажется, Перновскому не очень понравилось, что они сели близко от него. Он посмотрел на них вкось, оттянул нижнюю губу к одному углу и прошелся фуляровым платком по вспотевшей лысине.

Пил он чай основательно, уже больше получаса; спрашивал и второй чайник горячей воды. Из собственной фляжки он подливал что-то темное в стакан, должно быть, ром.

На его сухом, но плечистом туловище подержанный дорожный сюртук сидел мешковато. Грудь прикрывала не первой чистоты рубашка, и крест спускался ниже, чем его обыкновенно носят.

Лакей подал чай, заказанный Кузьмичевым.

– Прикажете мне заварить, Василий Иванович? – громко спросил капитан.

– Пожалуйста.

Ответ Теркина заставил Перновского обернуть голову в его сторону и оглядеть статного, красивого пассажира. На капитана он не желал смотреть: злился на него второй день после столкновения между Василем и Казанью. Он хотел даже пересест на другой пароход, да жаль было потерять плату за проезд.

Капитан закурил крепчайшую «пушку». От дыма Перновский заметно поморщивался.

За другим столом разговор шел вяло. Слышно было, как Кузьмичев дует на блюдечко и прихлебывает чай, попеременно с клубами дыма.

Вдруг отчетливо и довольно громко раздался вопрос Теркина, нагнувшегося вправо к своему соседу:

– А вы, никак, не узнаете меня, Фрументий Лукич?

Педагог мешал ложкой сахар и тотчас перестал, как только услышал свое имя и отчество. На лице его появилась недоумевающая гримаса.

– Никак нет-с, – ответил он и поглядел на капитана.

Этот взгляд значил: «не думаю, чтобы твой приятель ст/оил моего знакомства».

– Я – Теркин!

Перновский промолчал и стал прихлебывать чай. Он узнал ученика, позволившего себе дерзость при всем классе, но не хотел в этом сознаваться.

– Запомняли? – спросил капитан и засмеялся, откинув голову. – Будто?.. Сколько это лет было тому, Василий Иванович?

– Да лет больше десяти!

– Ну и что же? – выговорил наконец Перновский и опять отер лысину платком.

– Ничего!.. Весьма рад был встрече с моим преподавателем, – сказал Теркин.

Лицо педагога пошло пятнами.

XIX

Купцы с офицером поднялись на палубу. В каюте остались только двое приятелей и Перновский.

Теркин уже придвинулся к своему бывшему учителю, глядел ему прямо в глаза и говорил с расстановкой:

– Вы что же это, Фрументий Лукич, как словно меня и признать не хотите? Ведь то, что случилось в гимназии с лишком десять лет назад, быльем поросло. Мало ли что случается в жизни!.. Нельзя же так долго серчать...

И он взглядом, брошенным на капитана, передал ему педагога.

– Господин статский советник и на меня, кажется, в большой претензии? – заговорил Кузьмичев. – Сердце у него неотходчиво. А вы, Василий Иванович, рассудите: ежели бы каждый пассажир, хотя бы и в чинах, начал распоряжаться за капитана, мы бы вместо фарватера-то скрозь бы побежали, ха-ха!

Раскатистый смех Кузьмичева всколыхнул его широкую грудь. Теркин улыбнулся только глазами и повернул голову опять к Перновскому.

– Нешто это не судьба, Фрументий Лукич, что мы с вами вдруг через десять лет с лишним – и на одном суденышке? Куда изволите следовать? К месту служения своего?

– До Саратова едет их высокородие, – смешливо заметил капитан.

Лицо Перновского становилось совсем красным, влажное от чая и душевного волнения. Глаза бегали с одной стороны на другую; чуть заметные брови он то подымал, то сдвигал на переносице. Злобность всплыла в нем и держала его точно в тисках, вместе с предчувствием скандала. Он видел, что попался в руки «теплых ребят», что они неспроста обсели его и повели разговор в таком тоне.

Окрик капитана, доставшийся ему два дня перед тем, угроза высадить «за буйство», все еще колом стояли у него в груди, и он боялся, как бы ему не выйти из себя, не нарваться на серьезную неприятность. Капитан способен был высадить его на берег, а потом поди судись с ним!

Будь в каюте другие пассажиры, он дал бы им сейчас отпор, какого они заслуживали; кроме лакея, в буфете никого не оставалось, а сумерки все сгущались и помогали обоим «наглецам», – так он уже называл их про себя, – продолжать свое вышучиванье.

Взглядом своих веселых и умных глазок капитан опять передал педагога Теркину.

– И где же вы изволите теперь начальствовать, Фрументий Лукич?

Слова были отменно вежливы, но тон показывал, куда пробирается тот «мужицкий прием», который нанес ему когда-то оскорбление.

– А вы, господин Теркин, куда изволите ехать и в каком звании состоите?

– Я вам за Василия Ивановича отвечу, – подхватил Кузьмичев. – Он в наше товарищество пайщиков поступает. Собственный пароходик у него будет, «Батрак», вдвое почище да и побольше вот этой посуды. Видите, ваш ученик времени не терял, даром что он из крестьянских детей.

– На здоровье!.. – выговорил Перновский.

Ему страстно захотелось кинуть «наглецу» что-нибудь позорящее. Он слышал о притворном умопомешательстве Теркина, но не знал про то, что его высекли в селе.

И в ту же самую минуту Теркина схватила за сердце боязнь, как бы «аспид» не прошелся насчет этого. У него достанет злобы, да и всякий бы на его месте воспользовался таким фактом, чтобы дать отпор и заставить прекратить пристаиванье, затеянное, как он мог предполагать, не кем иным, как Теркиным.

Но страх его сейчас же отлетел. Вид Перновского, звук голоса, вся посадка разжигали его. Пускай тот намекнет на розги. Это ему развяжет руки. Выпей он стакан-другой вина – и он сам бы рассказал и при Кузьмичеве, через что прошел он в селе Кладенце.

– Господин Перновский, – начал Кузьмичев и дотронулся до плеча педагога. – Встречу вашу с Василием Ивановичем надо sprysнуть... Илья, – крикнул он к оконцу буфета, – подай живее бутылку игристого, донского! Полынькового, от Чеботарева!

– Сию минуту! – откликнулся лакей высоким тенорком.

– Позвольте мне... Я хочу на палубу!

Перновский привстал и отстранил ладонь Кузьмичева.

– Нет, Фрументий Лукич, посидите!

– Однако, господа!..

Приход лакея с бутылкой и стаканчиками не дал Перновскому закончить. Он успел только надеть свой белый картуз на потную голову.

– Вот так! – крикнул капитан, когда р/озлил пенистое вино. – Вспомните студенческие годы!

– Да я совсем не желаю пить!

Обтянутые щеки Перновского бледнели. В глазах вспыхивал злобный огонек.

– Желаете или нет, а пейте!

– За ваше драгоценное!

Теркин прикоснулся своим стаканом к стакану Перновского.

Они не готовились пробирать «искариота», заранее не обдумывали этой сцены. Все вышло само собою, резче, с б/ольшим школьничеством, чем бы желал Теркин. Он отдавался настроению, а капитан переживал с ним ту же потребность отместки за все свои мытарства.

Теркин еще ближе пододвинулся к Перновскому.

– Вы нам лучше вот что скажите, Фрументий Лукич: неужели в вас до сих пор сидит все тот же человек, как и пятнадцать лет тому назад? Мир Божий ширится кругом. Всем надо жить и давать жить другим...

– Не знаю-с! – перебил Перновский. – И не желаю, господин Теркин, отвечать вам на такие... ни с чем не сообразные слова. Надо бы иному разночинцу проживать до сего дня в местах не столь отдаленных за всякое озорство, а он еще похваляется своим закоренелым...

– Эге! – перебил капитан. – Вы, дяденька, кажется, серчать изволите!.. Это непорядок!

– Оставьте, Андрей Фомич! Дайте мне отозваться на этот спич.

Теркин взял повыше плеча руку Перновского.

– Вам, коли судьба со мною столкнула, надо бы потише быть! Не одну свою обиду я на вас вымещаю, вместе вот с капитаном, а обиду многих горюнов. Вот чт/о вам надо было напомнить. А теперь можете проследовать в свою каюту!

Лицо Теркина делалось все нервнее и голос глуше. Перновский хотел было что-то крикнуть, но звук остановился у него в горле. Он вскочил стремительно, захватил свою шинель и выбежал вон.

XX

В тесной каюте, с одним местом для сна, в темноте, лежал Перновский с небольшим час после сцены в общей каюте.

Его поводило. Он лежал навзничь, голова закатывалась назад по дорожной подушке. Кам-лотовая шинель валялась в ногах.

Рядом на доске, служившей столом, под круглым оконцем, что-то блеснуло.

Это был большой графин с водкой. Он приказал подать его из буфета второго класса вскоре после того, как спустился к себе.

Ему случалось пить редко, особенно в последнее время, но два раза в год он запирался у себя в квартире, сказывался больным. Иногда пил только по ночам неделю-другую, – утром уходил на службу, – и в эти периоды особенно ехидствовал.

И теперь он не воздержался. Не спросил он водки, его бы хватил удар.

– Мерзавцы! – глухо раздалось в каюте под шум колес и брызг, долетавших в окна. – Мерзавцы!

Другого слова у него не выходило. Правая рука протянулась к графину. Он налил полную рюмку, ничего не разлил на стол и, приподнявшись немного на постели, проглотил и сплюнул.

С каждым десятком минутами, вместе с усиленным биением вен на висках, росла в нем ярость, бессильная и удушающая.

Что мог он сделать с этими «мерзавцами»? Пока он на пароходе, он – в подчинении капитану. Не пойдет же он жаловаться пассажирам! Кому? Купчишкам или мужичью? Они его же на смех поднимут. Да и на что жаловаться?.. Свидетелей не было того, как и что этот «наглец» Теркин стал говорить ему – ему, Фрументию Перновскому!

Оба они издевались над ним самым нахальным манером. Оставайся те пассажиры, что пили пиво за другим столом, и дай он раньше, еще при них «достождолжный» отпор обоим наглецам, и Теркин, и разбойник капитан рассказали бы его историю, наверно, наверно!

А теперь терпи, лежи, кусай от злости губы или угол кожаной подушки! Если желаешь, можешь раньше высадиться на привал, теряй стоимость проезда.

Как он ни был расчетлив, но начинал склоняться к решению: на рассвете покинуть этот проклятый пароход.

Но ведь это будет позорное бегство! Значит, он проглотил за «здорово живешь» такой ряд оскорблений? И от кого? От мужика, от подкидыша! От пароходного капитана, из бывших ссыльных, – ему говорил один пассажир, какое прошедшее у Кузьмичева.

«Что делать, что делать?» – мучительно допытывался он у себя самого, и рука его каждые пять минут искала графина и рюмки, наливала и опрокидывала в разгоряченное и жаждущее горло.

Графин был опорожнен. В голове зашумело; в темноте каюты предметы стали выделяться яснее и получать странные очертания, и как будто края всех этих предметов с красным отливом.

Рука искала графина, но в нем уже не было ни капли.

Он опять приподнялся, взглянул в то, что лежит, и протянул руку к фляжке в кожаном футляре, к той, что брал с собою, когда пил чай.

Там был ром. Вздвигая пальцами отвинтил он металлическую крышку, приставил к губам горлышко, одним духом выпил все и бухнулся на постель.

Сон не шел. В груди жгло. Голова отказывалась уже работать, дальше перебирать, что ему делать и как отметить двум «мерзавцам». Подать на них жалобу или просто отправить кому следует донесение.

Эта мысль всплыла было в мозгу, но он выбрал себя. Он хотел сам расправиться с ними. Вызвать обоих! Да, вызвать на поединок в первом же городе, где можно достать пистолет. А если они уклонятся – застрелить их.

«Как собак! Как собак!» – шептали его губы в темноте.

Мозг воспаленно работал помимо его приказа. Перед ним встали «рожи» его обоих оскорбителей, выглянули из сумрака и не хотели уходить; красное, белобрысое, мигающее, насмешливое лицо капитана и другое, белое, красивое, но злобное, страшное, с огоньком в выразительных глазах, полных отваги, дерзости, накопившейся мести.

Перновский вскочил, пошатнулся, не упал на постель, а двинулся к дверке, нашел ручку и поднялся наверх.

Его влекло к ним. Он должен был рассказать обоих: всего больше того, мужичьего...

Позорящее мужицкое прозвище незаконных людей загорелось на губах Перновского. И он повторял его, пока поднимался по узкой лестнице, слегка спотыкаясь. Это прозвище разжигало его ярость, теперь сосредоточенную, почти безумную.

Носовая палуба уже спала. На кормовой сидело и ходило несколько человек. Безлунная, очень звездная ночь ласкала лица пассажиров мягким ветерком. Под шум колес не слышно было никаких разговоров.

На верху рубки у правых перил ширилась коренастая фигура капитана.

Перновский остановился в дверях рубки. Все кругом его ходило ходуном, но ярость сверлила мозг и держала на ногах. Он знал, кого ищет.

Сделал он два-три шага по кормовой палубе и столкнулся лицом к лицу с Теркиным. Эта удача поддала ему жару.

– А-а! – почти заревел он.

И прозвище, брошенное когда-то Теркину товарищем, раздалось по палубе.

Пассажиры, привлеченные неистовым звуком, увидали, как господин в белом картузе полез с кулаками на высокого пассажира в венгерской шапочке и коротком пиджаке.

Теркин не потерялся. Он схватил обе руки Перновского и отбросил его на какой-то тюк.

Капитан в одну минуту сбежал вниз и успел встать между Теркиным и поднявшимся на ноги Перновским.

– И ты, разбойник!.. Каторжный! У-у!..

С новым напором отчаянной отваги кинулся Перновский и на Кузьмичева, но тот смял его мгновенно и свистнул.

Два матроса подбежали и скрутили ему руки.

– Господа! – обратился Кузьмичев к пассажирам, и голос его возбужденно и весело полился по ночному воздуху. – Каков господин? Воля ваша, я его высажу! – Еще бы!.. Так и надо! – раздалось из кучи, собравшейся тотчас.

Кузьмичев спросил вполголоса Теркина:

– Одобряете, Василий Иванович?

Злобное чувство Теркина давно уже улеглось.

Он все-таки не удержался и сказал Перновскому, продолжавшему бушевать:

– Фрументий Лукич! Видно, правда была, что вы тайно запивали?

Перновский бился и выбрасывал бранные слова уже без всякой связи: язык переставал служить ему.

– Просто скрутить – пускай проспится!

– Нет-с! – крикнул начальническим звуком Кузьмичев. – Ежели, господа, каждый пассажир будет на капитана с кулаками лезть, так ему впору самому высадиться.

Все примолкли. Каждый почуял, что он не шутит.

Теркин отошел к борту и оттуда, не принимая участия в том, что происходило дальше, сел на скамью и смотрел.

Пароход проходил между крутым берегом и лесистым островом. На острове виднелся большой костер. Стояли, кажется, две избенки.

– Держите лево! – скомандовал капитан, пока матросы повели Перновского на носовую палубу.

Его чемодан и ручной багаж склади в одну кучу. Никто из пассажиров не протестовал.

«Не густо ли пустил Андрей Фомич?» – подумал было Теркин, но его наполнило весело чувство отместки.

«И какой! Полежи на острове, отрезвись на лоне природы, – думал он, глядя бороду, – а там строчи на нас после что хочешь!»

Шлюпку спустили на воду. В нее сели трое матросов и положили Перновского. Публика молча смотрела, как лодка причаливала к берегу острова.

– Однако!.. – вдруг проговорил кто-то. – За это и нахлобучка может быть!

– Я в ответе! – крикнул Кузьмичев, стоя над левым козлом.

XXI

После отъезда Теркина Серафима отправилась к отцу.

– Починили мост? – спросила она своего кучера, когда они подъезжали к речке.

Еще третьего дня пролетка чуть не завязла правым передним колесом в щель провалившейся доски.

– Не видать чтой-то, Серафима Ефимовна.

Кучер Захар, молодой малый, с серьгой в ухе, чистоплотный и франтоватый, – он брил себе затылок через день, – обернул к ней свое загорелое широкое лицо с темной бородкой и улыбнулся.

– Проезжай шагом!

Замедленный ход лошади вызвал в Серафиме желание прислониться к задку крытой пролетки; верх ее был полуопущен.

Она сидела под зонтиком из черного кружева и была вся в черном, в том самом туалете, как и в тот вечер свидания с Теркиным у памятника, пред его отъездом. Ее миндалевидные глаза обошли медленно кругом.

Мост старый, с пошатнувшимися перилами, довольно широкий, приходился наискосок от темного деревянного здания, по ту сторону речки, влево от плотины, где она была запружена.

Фасад с галерейками закрывал от взгляда тех, кто шел или ехал по мосту, бок мельницы, где действовал водяной привод. Справа, из-за угла здания, виднелись сажени березовых дров, старое кулье, вороха рогож, разная хозяйственная рухлядь.

С реки шел розовый отблеск заката. Позади высил ся город, мягко освещенный, с полосами и большими пятнами зелени по извилинам оврагов. Белые и красные каменные церкви ярко выделялись в воздухе, и кресты горели искрами.

Серафима посмотрела вправо, где за рекой на набережной, в полверсте от города, высилась кирпичная глыба с двумя дымовыми трубами.

Это была паровая мельница, построенная лет пять назад. Она отняла у отца ее две трети «давальцев». На ней мололи тот хлеб, что хранился в длинном ряде побурелых амбаров, шедших вдоль берега реки, только ниже, у самой воды. Сваи, обнаженные после половодья, смотрели, частоколом, и поверх его эти бурые ящики, все одной и той же формы, точно висели в воздухе.

От той вальцовки и покачнулись дела Ефима Галактионыча. Вряд ли после него останется что-нибудь, кроме дома с мельницей да кое-каких деньжонок.

Дочь его и не хотела бы думать об этом, да не может. Ей довольно противно сторожить смерть отца. Она не считает себя ни злой, ни бездушной. Но отец так мучится, что для него кончина – избавление.

С той минуты, как она вернулась ночью домой от Теркина, в нее еще глубже проникло влечение к деньгам Калерии – «казанской сироты», напустившей на себя святость. Ведь той ничего не нужно, кроме своей святости... Зачем «сестре милосердия» капитал?

Когда пролетка, привскочив легонько на последнем бревне моста, въехала на противоположный берег речки, Серафима задала себе именно этот вопрос.

По разрыхленной песчаной дороге, – мостовой тут не было, – они подъехали к крылечку, приходившемуся под наружной галерейкой, без навеса.

С него неширокая лестница вела сначала на галерейку, потом с площадки в чистые комнаты хозяев, занимавших весь перед ветхого здания.

На крыльце Серафима поправила вуалетку и сказала кучеру:

– Захар, ты приезжай за мною, когда всенощная отойдет... Или, лучше, когда барина в клуб свезешь.

– Слушаю-с, Серафима Ефимовна.

Сережка в ухе кучера ярко блеснула при повороте пролетки.

Молодая женщина легко взбежала на площадку, но там остановилась и как бы прислушивалась.

Беззвучно и жарко было на этой площадке, где пахло теплыми старыми бревнами наружной стены. Только подальше за дощатой дверью, приходившейся посредине галерейки, жужжал шмель.

Она знала, что мать не спит. Если и приляжет, то гораздо раньше, часу во втором, а теперь уже восьмой.

Мать не видала она больше суток. В эти сорок часов и решилась судьба ее. Ей уже не уйти от своей страсти... «Вася» взял ее всю. Только при муже или на людях она еще сдерживает себя, а чуть осталась одна – все в ней затрепещет, в голове – пожар, безумные слова толпятся на губах, хочется целовать мантилью, шляпку, в которой она была там, наверху, у памятника.

И вот сейчас, когда она остановилась в трех шагах от двери в помещение родителей, ее точно что дернуло, и краска вспыхнула на матово-розовых щеках, глаза отуманились.

Она любила и немножко боялась матери, хотя та всегда ее прикрывала перед отцом во всем, за что была бы буря. Если бы не мать, она до сей поры изнывала бы под отцовским надзором вот в этом бревенчатом доме, в опрятных низковатых комнатах, безмолвных и для нее до нестерпимости тоскливых.

Но мать – не слабая, рыхлая наседка. В ней не меньше характера, чем в отце, только она умнее и податливее на всякую мысль, чувство, шутку, проблеск жизни. Ей бы не в мешанках родиться, а в самом тонком барстве. И от нее ничего не укроешь. Посмотрит тебе в глаза – и все поймет. Вот этого-то взгляда и пугалась теперь Серафима.

Как она жила до сих пор, мать знала, по крайней мере знала то, как она живет с мужем, «каков он есть человек», видела, что сердце дочери не нашло в таком муже ничего, кроме сухости, чванства, бездушных повадок картежника.

Про их встречи с Теркиным она как будто догадывалась. Серафима рассказала ей про их первую встречу в саду, не все, конечно. С тех пор она нет-нет да и почувствует на себе взгляд матери, взгляд этих небольших серых впалых и проницательных глаз, и сейчас должна взять себя в руки, чтобы не проговориться о переписке, о тайных свиданиях.

Но все это было только начало. А теперь? Как она взглянет прямо в лицо матери?... Ведь у нее любовник...

«Любовник!» – произнесла Серафима про себя и стала холодеть. Вдруг как она не выдержит?... Нет, теперь, до смерти отца – ни под каким видом!..

Ее нервно вздрагивающая рука в длинной перчатке взялась за скобку. Дверь была одностворчатая, обитая зеленой, местами облупившейся, клеенкой. Она оказалась запертой изнутри. Это удивило Серафиму. Она заглянула в окно передней, выходявшее на галерею. В передней никого не было. Родители ее держали прежде, кроме стряпухи, дворника, кучера, еще работницу и чистую горничную. Теперь у них только две женщины. Лошадей они давно перевели. Она постучала в окно раз-другой. Отперли ей не сразу. – Ах! барышня! Так Аксинья, пожилая женщина в головке и кацавейке, до сих пор зовет ее. – Что это?.. Почему вы заперлись? – торопливо и вполголоса спросила Серафима. – Извините, барышня, – Аксинья говорила так же тихо, – боялась я... Потому ночь целую не спамши... Ефим Галактионыч мучились шибко. Я и прикурнула. – А теперь как папенька? – К вечерням им полегче стало, забылись... Доктор два раза был. – Мамаша почивает? – Уж не могу вам сказать... Сама-то я спала... Вряд ли почивают. Они завсегда на ногах. – Если мамаша отдыхает, не буди ее... Я посижу в гостиной... Пойди, узнай.

Она нарочно уснула Аксинью в дальнюю комнату, где мать ее спала с тех пор, как она стала себя помнить, чтобы ей самой не входить прямо к Матрене Ниловне. В гостиной она больше овладеет собою. Ее внезапное волнение тем временем пройдет.

Аксинья отворила ей дверь в большую низковатую комнату с тремя окнами. Свет сквозь полосатые шторы ровно обливал ее. Воздух стоял в ней спертый. Окна боялись отпирать. Хорошая рядская мебель в чехлах занимала две стены в жесткой симметрии: диван, стол, два кресла. В простенках узкие бронзовые зеркала. На стенах олеографии в рамах. Чистота отзывалась раскольничьим домом. Крашеный пол так и блестел. По нем от одной двери к другой шли белые половики. На окнах цветы и бутылки с красным уксусом.

Как только Аксинья скрылась за дверью во внутренние комнаты, Серафима подо двинулась к одному из зеркал, потянула вуалетку, чтобы ее лицо ушло под тюль до рта, и вглядывалась в свои глаза и щеки – не могут ли они ее выдать?

XXII

Мать подошла к ней так тихо, что она встрепенулась, когда та окликнула ее:

– Здравствуй, Симочка!

Серафима перелистывала нумера старой «Нивы», лежавшие на столе около лампы еще с той поры, когда она ходила в гимназию.

– Ах, маменька! Здравствуйте!

Они поцеловались три раза, как всегда, по-купечески.

Небольшого роста, широкая в плечах, молодежового выразительного лица, Матрена Ниловна ходила в платке, по старому обычаю. На этот раз платок был легкий крепоновый, темно-лиловый, повязанный распущенными концами вниз по плечам и заколотый аккуратно булавками у самого подбородка. Под платком виднелась темная кацавейка, ее неизменное одеяние, и такая же темная шерстяная юбка, короткая, так что видны были замшевые туфли и чистые шерстяные чулки домашнего вязанья.

Матрена Ниловна не передала дочери своей наружности. Волос из-под надвинутого на лоб платка не было видно, но они у нее оставались по-прежнему русые, цвета орехового дерева, густые, гладкие и без седины. Брови, такого же цвета, двумя густыми кистями лежали над выпуклостями глазных орбит. Проницательные и впалые глаза, серые, тенистые, с крапинками

на зрачках, особенно молодили ее. В крупном свежем рту сохранились зубы, твердые и белые, подбородок слегка двоился.

– Чт/о папенька?

Серафима проговорила это тише, чем обыкновенно говорила в гостиной.

Они еще стояли посредине комнаты.

– Да что, Симочка... Столь плох, столь плох!.. Сегодня больно на заре маялся, сердешный. Я хотела было за тобой посылать... Заливает ему грудь-то... ни лежать, ни сидеть... Теперь вот забылся... И я пошла отдохнуть...

– Простите, маменька, я вас разбудила.

– Не спала я... Какой тут сон!..

Кистью правой руки Матрена Ниловна истово перекрестила рот; она не могла сдержать нервной зевоты. – Спасибо, Симочка, заехала... Муженек-то вернулся небось?

Серафима знала, что Матрена Ниловна в таких же чувствах к Рудичу, как и она сама.

– Вчера приехал.

– С чем? С пустушкой или повысили?

– К осени обещали товарища прокурора.

– Жалованья-то больше нешто?

– Нет, меньше.

– Ну, так чему же тут радоваться?

– Ход теперь другой будет.

– Все едино! В клубе на зеленом сукне спустит.

Полные губы Матрены Ниловны повела косвенная усмешка. Серые бойкие глаза остановились на дочери, но не особенно пристально. Их затуманивали душевная горечь и большое утомление.

Серафима все-таки опустила ресницы, хотя уже не боялась выдать себя. Разговор сам пошел в такую сторону, что ей нечего было направлять его.

Они присели на диван. Матрена Ниловна прикоснулась правой рукой к плечу дочери. В свою «Симочку» она до сих пор была влюблена, только не проявляла этого в нежных словах и ласках. Но Серафима знала отлично, что мать всегда будет на ее стороне, а чего она не может оправдать, например, ее «неверие», то и на это Матрена Ниловна махнула рукой.

– Свой разум есть, – говаривала она. – Сколь это ни прискорбно мне... Уповаю на милость Божию... Он, Батюшка, просветит ее и помилует.

Она не поблажала ей ни в чем, что было против ее правил, выговаривала, но всегда, точно старшая сестра или, много, тетка, как бы рассуждала вслух. Не хотела она и подливать масла в их супружеские нелады. Если она и сейчас так высказалась насчет своего зятя, то потому, что у них давно уже установился этот тон. В сердце Матрены Ниловны не закрывалась ранка горечи против того «лодыря», который сманил у них со стариком единственную их дочь, красавицу и умницу. Не случись этого «Божьего попущения», Симочка, конечно, попала бы за какого-нибудь миллионера по хлебной или другой торговле. Мало ли их по Волге? Есть и такие, что учились в Казани в студентах, а коренного дела своего не бросают.

Боязнь выдать себя совсем отлетела от Серафимы. Роковое слово «любовник» уже не прыгало у нее в голове. Мать простит ей, когда надо будет признаться.

И так ей стало легко, почти весело... Она даже застыдилась. Отец умирает через комнату, а она в таких чувствах!

– По тебе стосковался, – все так же тихо продолжала Матрена Ниловна, – задыхается, индо посоловеет весь, а чуть маленько отлегло, сейчас спросит: «Симочка не побывает ли?»

Наклонившись к лицу дочери, она прибавила чуть слышно:

– За эти месяцы вот как он разнемогся, тебя стал жалеть... не в пример прежнего. И ровно ему перед тобой совестно, что оставляет дела не в прежнем виде... Вчерашнего числа

этак поглядел на меня, у самого слез полны глаза, и говорит: «Смотри, Матрена, хоть и малый достаток Серафиме после меня придется, не давай ты его на съедение муженьку... Дом твой, на твое имя записан... А остальное что – в руки передам. Сторожи только, как бы во сне дух не вылетел»...

Дочь слушала, низко опустив голову. Ей хотелось спросить:

«Папенька, значит, завещания не оставит?»

Но вопрос не шел с губ. Не завещание беспокоило ее, а вопрос о деньгах ее двоюродной сестры Калерии.

– Коли папеньку самого раздумье разбирает, отчего же он не распорядится? – так же тихо, как мать, спросила она.

– Утречком, говорит, коли отпустит хоть чуточку, достань мне шкатунку красного дерева и подай.

Они помолчали.

– Стало быть, – выговорила Серафима слишком как-то спокойно, – в этой шкатулке и капитал Калерии?

Их взгляды встретились. Лицо Матрены Ниловны потемнело, и она тотчас же отвела голову в сторону.

Калерия и ее мозжила. Ничего она не могла по совести иметь против этой девушки. Разве то, что та еще подростком от старой веры сама отошла, а Матрена Ниловна тайно оставалась верна закону, в котором родилась, больше, чем Ефим Галактионыч. Не совладала она с ревностью матери. Калерия росла «потихоней» и «святошей» и точно всем своим нравом и обликом хотела сказать:

«Смотрите на нас с Симочкой. Я – праведница, и меня Господь Бог за это взыщет; а та – грешница, только и думает, что о суетном и мирском, предана всем плотским вожделениям».

Где же ей взять наружностью против Симочки! А все-таки, когда она здесь жила перед тем, как в Петербурге в «стриженные» сбежала, ст/оящие молодые люди почитали ее больше, чем Симочку, хоть она и по учению-то шла всегда позади.

Не хотела Матрена Ниловна помириться и с тем, что «святоше» достанутся, быть может, большие деньги, – она не знала, сколько именно, – а Симочке какой-нибудь пустяк. Ее душу неприязнь к Калерии колыхала, точно какой тайный недуг. Она только сдерживалась и с глаз на глаз с дочерью и наедине с самой собою.

Все это было как будто и грешно, а греха она и боялась и не любила по совести. Но ежеминутно она сознавала и то, что не выдержит напора жалости к дочери и ревнивого чувства к Калерии. Если представится случай поступить явно к выгоде Симочки, – она не устоит.

– Зачем же откладывать? – заговорила немного погромче Серафима и бросила долгий взгляд в сторону двери, где через комнату лежал отец. – Ежели папенька проснется да посвежее будет... вы бы ему напомнили. А то... не ровен час. Он сам же боится.

Говорить дальше в таком же смысле Серафиме тяжело было. Она переменила положение своего гибкого и роскошного тела. Щеки у нее горели.

– Как жарко!

Этот возглас был для нее большим облегчением.

– Ты бы шляпку-то сняла, – заметила Матрена Ниловна. – Вон она какая у тебя, прости Господи, ровно улей какой.

И мать тихо засмеялась.

Пока Серафима вынимала длинные булавки из волос и клала шляпку на стол, Матрена Ниловна, оправив концы платка, как бы про себя выговорила:

– Известное дело, зачем откладывать. Каков-то он, голубчик, проснется?..

Ей уже представлялась «шкатулка» из красного дерева с медными бляшками и наугольниками с секретным ящиком старинной работы... Там лежит капитал Калерии. И сдается ей, что Ефим Галактионыч поручит ей распоряжение этими деньгами.

Дрожь повела ей плечи, а в комнате было не меньше двадцати градусов.

Дверь из передней приотворили. Показалась «головка» Аксины.

– Матушка, – долгим шепотом протянула она, Ефим Галактионыч, никак, проснулись. Слышала я, кашлянули.

– Хорошо, – хозяйским тоном ответила Матрена Ниловна. – Скажи им: Серафима, мол, Ефимовна приехали.

Мать и дочь поглядели одна на другую и встали с дивана.

XXIII

В конце девятого часа Серафима ехала домой.

Пролетка медленно поднималась по «дамбе», – так называют мощеную дорогу от набережной в город.

Фонари только что начали зажигать. Небо висело густое и низкое, полное звезд.

На одну звезду с изумрудным блеском вдумчиво смотрела Серафима.

Все обошлось хорошо, лучше, чем она могла желать.

Отца она видела в темноте его чуланчика. Он лежал целый день в угловой каморке без окон, где кровать приткнута к стене, и между ее краем и стеклянной дверью меньше полуаршина расстояния. Мать сколько раз упрашивала его перебираться в комнату, где они когда-то спали вместе, но он не соглашался.

В каморке было так темно, что она не могла отчетливо разглядеть отцовского лица, заметила только, что оно раздулось; грудь была обнажена сверху; косой ворот рубашки откинут.

Отец полусидел в постели, прислонившись к высоко взбитым подушкам. Показалось ей, что борода еще поседела, и глаза смотрели на нее гораздо мягче обыкновенного.

Небывалое волнение охватило ее, когда она наклонилась к нему и взяла руку, уже налившую водой, холодную. Перед ней полумертвец, а она боится, как бы он не проник ей в душу, каким-нибудь одним вопросом не распознал: с какими затаенными мыслями стоят они с матерью у его кровати.

– Дочка, – перехваченными звуками говорил ей отец, – ты на меня не ропщи!

– Папенька! Что вы! – смогла она ответить и против воли заплакала.

– Не моя вина, милая... Времена не те... все пошло на умаление.

– Чего тут, Ефим Галактионыч! – вмешалась мать. – Н/ешто она что?.. Уж ты не расстраивай себя... без нужды. Полегче тебе с/едни, вот бы и сказал нам, какое твое желание.

Мать не договорила. Она слышала ее голос сбоку и немного сзади от себя.

«Догадается! – подумала Серафима. – Как бы не испортить всего!»

Но отец сам потребовал шкатулку. Она помогла матери достать ее из-под столика в проходной комнатке, отделявшей гостиную от каморки, где лежал отец.

Шкатулка показалась ей чрезвычайно легкой, должно быть, от возбуждения. Они обе держали ее перед отцом.

Он дрожащими и налитыми пальцами достал ключ с цепочки, висевшей у него на груди, и долго не мог отпереть. Наконец пружина музыкально прозвенела, и крышку он откинул с их помощью.

– Вот видите, – говорил он уже совсем замирающим голосом, – тут... Пальцем надавите в правом углу, и отскочит планочка.

У него еще достало сил показать, как следовало надавить.

– Что там найдете... больше ничего и нет... Нигде не ищите, в другом месте... И по-Божески, по-Божески...

Отец начал метаться. Чтобы запереть шкатулку, пришлось снять с его шеи цепочку, где, кроме ключа, висел большой оловянный крест и ладанка.

Она думала – он кончается. Мать поспешно убрала шкатулку и прибежала на ее зов.

– За доктором послать-ин, Ефим Галактионыч? – спросила мать, сдерживая рыдания.

И Серафима готова была разрыдаться.

Если бы у отца хватило телесных сил сказать ей еще раз: «Смотри, дочка, не обижай Калерии, не бери греха на душу!» – она упала бы на колени и во всем призналась бы.

Но отец ослаб. Они обе страшно испугались: думали, сейчас отойдет. Пометался он с минуту, потом ему стало легче; он наклонился и чуть слышно выговорил:

– Подь сюда, Серафима.

Она опустилась на колени. Отец благословил ее и поцеловал в голову.

– Прощай, дочка, – еле слышно прошептал он. Живи по-Божески... Муженек не задался... Терпеть надо... По– честному...

Она тихо плакала; но в ней уже ничто не влекло ее к признанию. Да и как бы она покаялась?.. Зачем?.. Чтобы потрясти отца, убить его на месте?

Слезы облегчили ее. Мать тоже тихо плакала.

– Ну, подите!

В гостиной они обнялись и, отойдя к печке в дальний угол, пошептались.

– Пришлите за мной... ежели ночью... папенька отходить будет.

– Зачем? – сказала Матрена Ниловна. – Он благословил тебя. Теперь уж не встать ему, сердешному...

О «пакете» они больше не говорили, но между ними и без слов что-то было условлено.

«Васе деньги нужны до зарезу, а достал ли он у того барина?»

Серафима спросила себя и сейчас же подумала о близкой смерти отца. Неужели ей совсем не жалко потерять его? Опять обвинила она себя в бездушии. Но что же ей делать: чувство у нее такое, что она его уже похоронила и едет с похорон домой. Где же взять другого настроения? Или новых слез? Она поплакала там, у кровати отца, и на коленки становилась.

Жутко ей перед матерью за «любовника», но теперь она больше не станет смущаться: узнает мать или нет – ей от судьбы своей не уйти. И с Рудичем она жить будет только до той минуты, когда им с матерью достанется то, что лежит в потаенном ящике отцовской шкатулки.

Есть у ней предчувствие, что Вася денег у того барина не добудет. Завтра или послезавтра должна прийти к ней депеша, адресованная «до востребования». Каждое утро она будет сама ходить на телеграф.

С тех пор, как вернулся из Москвы муж, она за собою следит. Но ей не нужно особенно себя сдерживать. Он для нее точно какой-то постоялец. Ни злобы, ни раздражения, ни желания показать, как она к нему относится... Только бы он не вздумал нежничать.

И третьего дня, и сегодня она жаловалась на головную боль, нарочно лежала перед обедом. Она не будет больше «принадлежать» Северу Львовичу ни под каким видом.

Про себя она зовет мужа «Север Львович», и это имя «Север» кажется ей сегодня смешным. Да и весь-то он – такое ничтожество... Теперь муж ничего не может над ней, ровно ничего. Еще много две недели, она опять подумала о смерти отца – и ее след простыл.

И несколько ей не страшно скрыться отсюда. «Скандалы!» – закричат все в городе. Быть на линии прокурорши и жить домом, считаться самой красивой молодой дамой – и вдруг бежать... С кем? Про ее связь вряд ли кто знает. Может быть, догадывается одна приятельница... Сочтут за тайную нигилистку. Нарочно, мол, влюбила в себя судебного чиновника, выведала от него какие-нибудь тайны и убежала за границу. Про то, как она живет с ним, конечно, говорят в городе, знают, что он игрок, но думают, должно быть, что она до сих пор

влюблена в него; жалеют, пожалуй, или называют «дурой». Она в последнюю зиму мало выезжала, была всего на двух-трех вечерах в клубе, ухаживателей не поощряла, по целым неделям сидела одна. Да и какая охота приглашать кого-нибудь? Север Львович начнет каждый раз умничать, гримасы строить, колкости говорить, показывать, какой он джентльмен и какая она «мужичка» и «моветонка». В первый год она еще терпела, а с тех пор, как встретила Теркина, не желала выносить этих «фасонов».

И с той самой поры она считает себя гораздо честнее. Нужды нет, что она вела больше года тайные сношения с чужим мужчиной, а теперь отдалась ему, все-таки она честнее. У нее есть для кого жить. Всю свою душу отдала она Васе, верит в него, готова пойти на что угодно, только бы он шел в гору. Эта любовь заменяла ей все... Ни колебаний, ни страха, ни вопросов, ни сомнений!..

И вдруг она запела вполголоса на самом крутом подъеме дамбы: О, люби меня без размышлений, Без тоски, без думы роковой!

Давно она выучила этот романс, на слова Майкова, еще в гимназии. Сейчас же заметалась перед ней вся обстановка того ужина с цыганами, где она впервые увидела Васю.

Ее родной город, в ту минуту пустой и дремотный, приучил ее с детства к разговорам о чувствах и любовных историях... В нем, в его летних гуляньях, в жизни большой реки, в военных стоянках, в пикниках зимой, в оперетке, – было что-то тайно-гулливое. В здешних женщинах рано сказывается характер, независимость речи и замашек. Как она сама грубила всем, лет с двенадцати!.. Сколько было у нее маленьких романов с гимназистами!.. Каких «делов» наслышалась она в тот же возраст, вроде убийства одного известного кутилы офицером в при-tone... И она знала – где именно.

Вот она какая была «гадкая девчонка», хоть и не хуже других.

А теперь она вся трепетала и рвалась к тому, кто взял ее на жизнь и смерть. И выходило, что она теперь как будто честнее!

XXIV

Долго пришлось Серафиме ждать возвращения мужа из клуба. Захар поехал за ним к двенадцати.

Целый час просидела она за пианино. На нее нашла неудержимая потребность петь.

Но сначала она разделась, поспешно побросала все на пол и на свою кровать. Горничная с маслястым лицом бродила как сонная муха.

Она дала на нее окрик:

– Положи капот и ступай!.. Ты мне надоела, Феня!

Спальня была угловая комната в четыре окна. Два из них выходили на палисадник. Дом – деревянный, новый, с крылечком – стоял на спуске в котловину, с тихой улицей по дороге к кладбищу.

Большая тишина обволакивала его ночью. Изредка трещотка ночного сторожа засвербит справа, и звук надоедливо простоят в воздухе с минуту, и потом опять мертвая тишина. Даже гул паровозных свистков не доходит до них.

Когда Серафима надела капот – голубой с кружевом, еще из своего приданого – и подошла к трюмо, чтобы распустить косу, она, при свете одной свечи, стоявшей на ночном столике между двумя кроватями, глядела на отражение спальни в зеркале и на свою светлую, рослую фигуру, с обнаженной шеей и полуоткрытыми руками.

В этой спальне прошла ее замужняя жизнь. Все в ней было ее, данное за ней из родительского дома. Обе ореховые кровати, купленные на ярмарке в Нижнем у московского мебельщика Соловьева с «Устретенки», как произносила ее мать; вот это трюмо оттуда же; ковер, кисейные шторы, отделка мебели из «морозовского» кретона, с восточными разводами... И

два золоченых стульчика в углу около пялец... К пяльцам она не присаживалась с тех пор, как вышла замуж.

Тут, в этом супружеском покое, она стала умнеть. С каждым месяцем обнажалась перед ней личность ее «благоверного». Не долго тщеславие брало в ней верх над способностью оценки. Да и не очень-то она преклонялась, даже когда выскочила за него замуж, пред его «белой костью». Мужчины по теперешним временам все равны перед неглупой и красивой молодой женщиной. Не то что она – все-таки дочь почтенных людей, по местному купечеству, гимназистка с медалью, – какая-нибудь дрянь, потаскушка, глядишь, влюбит в себя первого в городе богача или человека в чинах, дворянина с титулом и помыкает им, как собачонкой. Мало разве она знает таких историй?

И ничего-то в ее жизни с Севером Львовичем не было душевного, такого, что ее делало бы чище, строже к себе, добрее к людям, что закрепляло бы в сердце связь с человеком, если не страстно любимым, то хотя с таким, которого считаешь выше себя.

Она стала портиться. В девушках у нее были порывы, всякие благородные мысли, жалость, способность откликаться на горе, на беду. И было время – она втайне завидовала этой самой Калерии. И ее днями влекло куда-нибудь, где есть большое дело, на которое стоит положить всю себя, коли нужно, и пострадать.

С мужем все это выело у нее, ровно червяк какой сточил. Не полюби она Васи – что бы из нее вышло?

«Гулящая бабенка!» – почти вслух выговорили ее губы в ту минуту, когда правой рукой Серафима приподняла тяжелую косу, взяв ее у корней волос, и сильным движением перекинула ее через плечо, чтобы освежить лицо.

Со свечой в руках прошла она потом вдоль всех трех комнат, узковатой столовой и гостиной, такой же угловой, как спальня, но больше на целое окно.

Не жаль ей этого домика, хотя в нем, благодаря ее присмотру, все еще свежо и нарядно. Опрятность принесла она с собою из родительского дома. В кабинете у мужа, по ту сторону передней, только слава, что «шикарно», – подумала она ходячим словом их губернского города, а ни к чему прикоснуться нельзя: пыль, все кое-как поставлено и положено. Но Север Львович не терпит, чтобы перетирали его вещи, дотрагивались до них... Он называет это: «разночинская чистоплотность».

Нет, не жаль ей ничего в этом домике. Жаль одного только – годов, проведенных без любви, в постылом сожительстве.

«Хуже всякой адвокатской содержанки!» – гневно подумала она, поставила свечу на пианино, подняла крышку и несколько раз прошла по гостиной взад и вперед. «Разумеется, хуже содержанки!» – повторила она. Содержанку любят для нее самой, тратятся на нее, хоть и не уважают ее, зато из-за нее обманывают жен, попадают часто в уголовщину, режутся, отравляются... А она?.. Только и есть утешение, что Север Львович не завелся еще никем на стороне. Оттого, конечно, что у него, как у игрока, все другие страсти выело. Да и случая не представлялось. Его никто не любит; он везде держит себя чванно, с язвой, все как-то ежится, когда разговаривает с губернскими дамами, всем своим тоном показывает, что он – настоящий барин, правовед, сенаторский сын и принужден жить в трущобе, среди разночинцев и их самок – его любимое слово. И какая в этом сладость, что он ее ни на кого не променял, даже если б она и любила его?.. Она до сих пор ему не противна. Есть у него дома женщина, ничего ему не стоит, ее деньги все ушли на него же. Шутка! Без малого тридцать тысяч!

Эта цифра зажглась в ее голове, как огненная точка. Васе нужно как раз столько. Даже меньше! Будь у нее в ящике или в банке такие деньги, она ушла бы с ним, вот сейчас уложилась бы, послала бы Феню за извозчиком и прямо бы на пароход или на железную дорогу, с ночным поездом.

Почему не встретила она Васи четыре года назад? И свободна была, и деньги были, и любовь бы настоящая, бесповоротная погнала ее под венец, а не самолюбивая блажь девчонки, удостоенной ухаживания барича– правоведа.

Щеки Серафимы пылали. Ей стало нестерпимо противно на самое себя. Бранные слова готовы были соскочить с ее разгоряченных красных губ.

И так же нестерпимо жалко сделалось Васи. Он, бедный, должен теперь биться из-за двадцати тысяч. Скорее всего, что не достанет... Или впутается в долг за жидовские проценты.

Она села у пианино порывисто, чтобы освободить себя от наплыва горечи, и взяла несколько сильных аккордов.

Что было, то прошло! Он ее любит... Она ему принадлежит! Чего же больше? Еще неделя, две – и не будет ее в этих постылых комнатах.

Она запела вдруг тот цыганский романс, который помог им сойтись с первой же встречи: «Коль счастлив я с тобой бываю»... Это она за него поет, за Васю... И слов ей не нужно: слова глупые и старомодные, довольно одной мелодии.

Много-много раз повторила она один мотив... Потом запела другой романс на те слова, что она начала вслух произносить, когда ее пролетка поднималась наверх дамбы: О, люби меня без размышлений, Без тоски, без думы роковой!

Она вспомнила не одни эти два стиха, а и дальше все куплеты. Как только кончился один куплет, в голове сейчас выскакивали первые слова следующего, точно кто ей их подсказывал. Она даже удивилась... Спроси ее, знает ли она это стихотворение Майкова, она ответила бы, что дальше двух первых стихов вряд ли пойдет...

Когда в горле сказалась усталость, Серафима посмотрела на часы в столовой – было половина двенадцатого, и опять она заходила уже вдоль всех трех комнат... Две стояли в темноте.

После возбуждения, улегшегося за пианино, голова заработала спокойнее ввиду последних решительных вопросов.

Зачем бежать? Почему не сказать мужу прямо: «Не хочу с тобой жить, люблю другого и ухожу к нему?» Так будет прямее и выгоднее. Все станут на ее сторону, когда узнают, что он проиграл ее состояние. Да и не малое удовольствие – кинуть ему прямо в лицо свой приговор. «А потом довести до развода и обвенчаться с Васей... Нынче такой исход самое обыкновенное дело. Не Бог знает что и стоит, каких–нибудь три, много четыре тысячи!» – подумала Серафима.

«Как бы не так! Отпустит он по доброй воле! Даст он развод! И чтобы на себя вину взять – ни за что! В нем крючкотворец сидит, законник, сыщик, „представитель общественной совести“, как он величает себя. Да и не хочет она „по-честному“, – ей припомнились слова отца, – уходить от него. Он этого не стоит... Пускай ни о чем не догадывается в своем самодовольстве и чванном самообожании. На тебе: любила два года, ездила на свидания в Нижний, здесь видалась у тебя под носом и ушла, осрамила тебя больше, чем самое себя»...

Серафима начала громко шептать.

И ни разу ей не представился вопрос: «а поймает и вызовет по этапу?»

XXV

Пробило и двенадцать. Она не слыхала боя часов.

Не раздеваясь прилегла она на кушетку в гостиной и задремала. На пианино догорала свеча.

Обыкновенно она ложилась часу в первом и не ждала мужа. Он возвращался в два, в три. И сегодня Захар будет его ждать, пожалуй, до рассвета. Если Север Львович проигрался, он разденется у себя в кабинете, на цыпочках войдет в спальню и ляжет на свою постель так тихо, что она почти никогда не проснется. Но чуть только ему повезло – он входит шумно,

непременно разбудит ее, начнет хвалиться выигрышем, возбужденно забрасывать ее вопросами, выговаривать ей, что она сонная...

Серафима сначала задремала, потом крепко заснула. Ее разбудил звонок в передней.

Она раскрыла глаза и сразу не могла распознать, где лежит и какой час дня. В два окна, выходявшие на двор, вливался уже отблеск утренней зари; окна по уличному фасаду были закрыты ставнями. В гостиной стоял двойственный свет.

С кушетки ей видна была дверь в сени. Позвонили еще раз. Заспанная Феня отворила наконец. Север Львович вошел и крикнул горничной:

– Сколько раз надо звонить?

«Проигрался», – сказала Серафима про себя.

Сон совсем отлетел, и она сообразила, что уже светает.

Она, еще не поднимаясь с кушетки, продолжала издали смотреть на мужа, пока Феня стаскивала с него светло-гороховое очень короткое пальто, на шелковой полосатой подкладке. Шляпу, светлую же, он также отдал горничной.

На лицо его падало довольно свету из окна передней, – лицо моложаво-обрюзглое, овальное, бритое, кроме длинных и тонких усов; что-то актерское было в этом лице, в глазах с опухлыми веками, в прямом коротком носе, в гримасе рта. Он один во всем городе вставлял в левый глаз монокль. Темно-русые волосы заметно редели на голове.

Такой же моложавый, сухой и малорослый стан в двубортной синей расстегнутой визитке, из-под которой выглядывал белый жилет. На ногах красно-желтые башмаки, тоже единственные в городе.

Ему на вид казалось за тридцать.

«Проигрался!» – решила еще раз Серафима и, не притворяясь спящей, лежала в той же полусогнутой позе.

– Вы здесь?.. С какой стати, а?

Голос его слегка в нос и вздрагивающий неприятно прошелся по ее нервам.

– Надеюсь, меня не ждали?

Опять этот ненавистный отрывистый говор затрещал, точно ломающаяся сухая скорлупа гороховых стручьев.

Муж приучал жену к хорошему тону, был с ней на «вы» и только в самых интимных разговорах переходил на «ты». Она привыкла называть его «Север Львович» и «ты» не говорила ему больше года, с поездки своей на ярмарку.

– Так, заснула...

Серафима сладко потянулась и свои белые обнаженные руки закинула за спину. Одна нога в атласной черной туфле с цветным бантом свесилась с кушетки. Муж ее возбужденно прошелся по гостиной и щелкнул несколько раз языком. С этой противной для нее привычкой она не могла помириться.

– Который час? – лениво и глухо спросила она.

– Не знаю... видите, светает.

И он засмеялся коротким и высоким смехом, чего с ним никогда не бывало.

«Должно быть, здорово обчистили его!» – выговорила она про себя.

– Неужели все время в клубе?

И этот вопрос вышел у нее лениво и небрежно.

– Сначала... да. А потом... у этого приезжего инженера.

– Какого?

«Очень мне нужно знать!» – добавила она мысленно:

– Ах, Боже мой. Я вам говорил. Несвисецкий... Запржецкий. Полячишко!.. Шулер!..

Он сдержал свое раздражение, откинул борт визитки на один бок, засунул большой палец за выемку жилета и стал, нервно закинув голову.

– Несомненный шулер... И таких мерзавцев в клуб пускают!

– Вы зачем же с ним садились?

– Разве это написано на лбу?... Игра вдвоем.

– В пикет?

– Нет, в палки.

– Колоду подменил?

«И зачем я с ним разговариваю? – подумала она. Какое мне дело? Чем больше продулся, тем лучше».

Когда она говорила, мысленно у ней выскакивали резкие, неизящные слова.

– В клубе... нет, это немыслимо! – Он заходил, все еще с большим пальцем в выемке жилета. – Нет, у себя, в номере...

– Ловко! – вырвалось у нее таким бесцеремонным звуком, что Рудич вскинул на нее свой монокль. Значит, к нему отправились?..

– Нельзя было... Ты понимаешь. Я был в таком проигрыше.

Он незаметно для себя стал говорить ей «ты».

– На сколько же?

– На очень значительную сумму. На очень!..

– Совестно выговорить небось?

Такого тона Север Львович еще не слышал от жены.

В другое время он остановил бы ее одним каким-нибудь движением перекошенного рта, а тут он только выкинул монокль из орбиты глаза и быстро присел на кушетку, так быстро, что она должна была подвинуться.

– Серафима, ты понимаешь... теперь для меня, в такую минуту... на днях должна прийти бумага о моем назначении...

– И вы еще больше спустили?

Сквозь свои пушистые ресницы, с веками, немного покрасневшими от сна, она продолжала разглядывать мужа. Неужели эта дрянь могла командовать ею и она по доброй воле подчинилась его фанаберии и допустила себя обобрать до нитки?.. Ей это казалось просто невозможным. И вся-то его фигура и актерское одутлое лицо так мизерны, смешны. Просто взять его за плечи и вытолкнуть на улицу – б/ольшего он не заслуживал. Никаких уколов совести не чувствовала она перед ним, даже не вспомнила ни на одно мгновение, что она – неверная жена, что этот человек вправе требовать от нее супружеской верности.

Он провел белой барской ладонью по своей лысеющей голове и почесал затылок.

– Словом... мой друг... это экстраординарный проигрыш. Я мог бы, как... представитель, ты понимаешь... судебной власти... арестовать этого негодяя. Но нужны доказательства...

– Не дурно было бы! – перебила она. – Сам же играл до петухов у шулера и сам же арестовать его явился... Ха-ха!

Такого смеха жены Рудич еще никогда не слыхивал.

– Ты пойми, – он взял ее за руки и примостился к ней ближе, – ты должна войти в мое положение...

– Да сколько спустили-то?

– Сколько, сколько!..

– Тысячу или больше?

– Тысячу!.. Как бы не так! Подымай выше!..

Он сам соскочил с своего обычного тона.

– Ну, и что ж?

Этот возглас Серафимы заставил его взять ее за талию, прилечь головой к ее плечу и прошептать:

– Спаси меня!.. Серафима! Спаси меня!.. Попроси у твоего отца. Подействуй на мать. Ты это сделаешь. Ты это сделаешь!..

Его губы потянулись к ней.

– Никогда!.. – выговорила резко и твердо Серафима и оттолкнула его обеими руками.

– Ты с ума сошла!

Он чуть было не упал.

– Отправляйтесь спать!

И когда он опять протянул к ней обе руки со слащавой гримасой брезгливого рта, она отдалила его коленями и одним движением поднялась.

У дверей столовой она обернулась, стала во весь рост и властно прокричала:

– Не смейте ко мне показываться в спальню! Слышите!.. Ни спасать вас, ни жить с вами не желаю! И стращать меня не извольте. Хоть сейчас пулю в лоб... на здоровье! Но ко мне ни ногой! Слышите!

Она пробежала через столовую в спальню, захлопнула дверь и звонко повернула ключ.

И когда она от стремительности почти упала на край своей кровати, то ей показалось, что она дала окрик прислуге или какому-нибудь провинившемуся мальчишке, которого запрут в темную и высекут...

XXVI

Теркин шел по тропе мимо земляных подвалов, где хранился керосин, к конторе, стоявшей подальше, у самой «балки», на спуске к берегу.

Солнце пекло.

Он был весь одет в парусину; впереди его шагал молодой сухощавый брюнет в светлой ластиковой блузе, шелковом картузе и больших сапогах; это и был главный техник на химическом заводе Усатина, того «благоприятеля», у которого Теркин надеялся сделать заем.

Сегодня утром он не застал его в усадьбе. Усатин уехал в город за двадцать верст, и его ждали к обеду. Он должен был вернуться прямо в контору.

Туда они и шли с Дубенским, – так звали техника с завода из-за Волги. Тот также приехал по делу. И у него была «большая спешка» видеть Арсения Кирилыча.

Усатин наезжал один в эту приволжскую усадьбу, где когда-то сосредоточил торг керосином. Семейство его проживало с конца зимы где-то за границей.

Теркина принял нарядчик. Он еще помнит его с того времени, когда сам служил у Арсения Кирилыча; его звали Верстаков: ловкий, немножко вороватый малый, употреблявшийся больше для разъездов, уже пожилой.

Верстаков ему обрадовался и повел его сейчас же наверх, где помещаются комнаты для гостей.

– Надолго к нам, Василий Иванович? – спросил он его тоном дворового.

Прежде он держался с ним почти как равный с равным.

На его вопросы о хозяине, его делах, новых предприятиях и планах Верстаков отвечал отрывочно, с особенным поворотом головы в сторону, видимо с умышленной сдержанностью.

Но Теркин не хотел допытываться; только у него что-то внутри защемило. Как будто в уклончивых ответах Верстакова он почуял, что Усатин не может быть настолько при деньгах, чтобы дать ему двадцать тысяч, хотя бы и под залог его «Батрака», а крайний срок взноса много через десять дней, да и то еще с «недохваткой». Остальное ему поверят под вексель до будущей навигации.

Там же в усадьбе дожидался Усатина и его техник или «делектур», как называл его Верстаков. Они друг другу отрекомендовались за чаем.

Дубенского он сразу определил: наверно из «технологического», с большим гонором, идей самых передовых, – может, уже побыл где-нибудь в местах «отдаленных», – нервный, на все должен смотреть ужасно серьезно, а хозяйское дело считать гораздо ниже дела «меньшей братии».

Так выходило по соображениям Теркина из повадки и наружности техника: лицо подвижное, подслеповат, волосы длинные, бородка плохо растет, говорит жидким тенором, отрывисто, руками то обдергивает блузу, то примется за бородку. О приятном тоне, об умении попасть в ноту с чужим человеком он заботится всего меньше.

За чаем Теркин узнал от него, что Усатин должен тотчас же отправиться в Москву, может быть, не успеет даже переночевать.

– Вам по какому делу? – спросил Дубенский, тревожно поглядел на него и, не дождав-шись ответа, добавил быстро: – Я ведь так спросил... понимаете... Может... какое сведение нужно... по заводу?

– Нет, я по другим статьям, – ответил Теркин с усмешкой.

Малый ему скорее нравился, но прямо ему говорить: «я, мол, заем приехал произве-сти», – он не считал уместным. Лучше было повести разговор так, чтобы сам «интеллигент» распоясался.

– Расширили дело на заводе? – осведомился он добродушно небрежным тоном, как чело-век, которому обстоятельства Усатина давно известны. – Ведь Арсений Кирилыч хотел, пом-нится мне, соседнюю лесную дачу заполучить и еще корпус вывести для разных специальных производств?

– Нет, дача не куплена... и все по-старому... даже посокращено дело...

Техник тыкал папирсой в пепельницу, говоря это.

– Что ж? Охладел патрон или сбыт не тот против прежнего?

– Разные причины... понимаете... в другую сторону были направлены главные интересы. Арсений Кирилыч – человек, как вам известно, увлекающийся.

Еще бы!

Да и конкуренция усилилась. Прежде в этом районе едва ли не один всего завод был, а нынче... расплодился. И подвоз... по новым чугункам...

– Так, так!

Слушая техника, Теркин из-за самовара вглядывался в него.

«Ведь тебя, паря, – по-мужицки думал он, – что-нибудь мозжит... также нетерпящее... в чем твоя подоплека замешана... И тебе предстоит крупный разговор с патроном...»

Ему стало его вдруг жаль, точно он его давно знает, хотя он мог бы быть недоволен и помехой лишнего человека, и тем, что этот «делектур» расстроен. Конечно, дело, по которому он приехал, денежное и неприятное.

Стало быть, есть разные заминки в оборотах Арсения Кирилыча... Почему же он сам-то так верит, что у него легко перехватит крупноватый куш? Ведь не наобум же он действовал?.. Не малый младенец. Не свистун какой-нибудь!

Не дальше как по весне он виделся с Усатиным в Москве, в «Славянском Базаре», гово-рил ему о своем «Батраке», намекал весьма прозрачно на то, что в конце лета обратится к нему.

И тот ему ответил, похлопав по плечу:

– Весьма рад буду, Теркин, поддержать вас... Напомните мне месяца за два... письмом.

Он и напомнил. Правда, ответа не получил, но это его тогда не смутило. А весной, когда они встретились в Москве, Усатин «оборудовал» новое акционерное дело по нефтяной части и говорил о нем с захлебыванием, приводил цифры, без хвастовства упоминал о дивиденде в двадцать три процента, шутя предлагал ему несколько акций «на разживу», и Теркин ему, так же шутя, сказал на прощанье:

– Мне теперь, Арсений Кирилыч, всякий грош дорог. Дайте срок, ежели Волга-матушка не подкузьмит на первых же рейсах – и поделитесь тогда малой толикой ваших акций.

Что говорить, человек он «рисковый», всегда разбрасывался, новую идею выдумает и кинется вперед на всех парах, но сметки он и знаний – огромных, кредитом пользовался по всей Волге громадным; самые прожженные кулаки верили ему на слово. «Усатин себя заложит, да отдаст в срок»: такая прибаутка сложилась про него давным-давно.

К тому же Арсений Кирилыч сам когда-то пострадал, посидел малую толику за свое «направление». Он не в дельцы себя готовил, а по ученой части; ходил в народ, хотел всю свою душу на него положить и в скором времени попался. Это его на другую дорогу повернуло. Через пять-десять лет он уже гремел по Волге, ворочал оборотами в сотни тысяч. А все в нем старая-то закваска не высыхала: к молодежи льнул, ход давал тем, кто, как Теркин, с волчьим паспортом выгнан был откуда–нибудь, платил за бедных учащих, поддерживал в двух земствах все, что делалось толкового на пользу трудового люда.

Усатин приласкал Теркина, приставил к ответственному делу, а когда представилась служба крупнее и доходнее, опять по железнодорожной части, он сам ему все схлопотал и, отпуская, наставил:

– Смотрите, Теркин! Под вашей командой перебивает тысяча рабочих. Не давайте, насколько можете, эксплуатировать их, гноить под дождем, в шалашах, кормить вонючей соломиной и ржавой судачиной да жидовски обсчитывать!

Тогда Теркину даже не очень нравилось, что Усатин так носится с мужиками, с рабочими, часто прощает там, где следовало строго взыскать. Но его уважение к Арсению Кирилычу все-таки росло с годами – и к его высокой честности, и к «башке» его, полной всяких замыслов, один другого удачнее.

Правда, начали до него доходить слухи, что Усатин «зарывается»... Кое-кто называл его и «прожектером», предсказывали «крах» и даже про его акционерное общество стали поговаривать как-то странно. Не дальше, как на днях, в Нижнем на ярмарке, у Никиты Егорова в трактире, привелось ему прислушаться к одному разговору за соседним столом...

Может быть, Усатин и зарвался. Только скорее он в трубу вылетит, чем изменит своим правилам. Слишком он для этого горд... Такие люди не гнутся, а ломаются, даром что Арсений Кирилыч на вид мягкий и покладистый.

XXVII

Подходя к конторе, Дубенский обернулся и, защищаясь ладонью от палящего солнца, спросил:

– Не хотите ли в садике посидеть? Там и тень есть.

– И весьма... Может, ждать Арсения Кирилыча долгонько придется, – возбужденно отозвался Теркин.

Они уже были у забора.

– К полудню должен быть.

Техник отворил дверку в палисадник и впустил первого Теркина. Контора – бревенчатый новый флигель с зеленой крышей – задним фасом выходила в палисадник. Против крылечка стояла купа тополей. По обеим сторонам лесенки пустили раскидистую зелень кусты сирени и бузины.

– Да вот на лесенке посидим, – сказал Теркин. Тут всего прохладнее. Здоровая же нынче жара! Как думаете, градусов чуть не тридцать на припеке?

– Около того... Не угодно ли?

Техник протянул ему свою папиросницу.

– Много благодарен... Как вас по имени-отчеству?

– Петр Иванов...

С лица Дубенского не сходило выражение ущемленности. Теркину еще больше захотелось вызвать его на искренний разговор; да, кажется, это и не трудно было.

– В Москву депешей, что ли, требуют Арсения Кирилыча? – спросил он умышленно небрежным тоном и выпустил дым папиросы вбок, не глядя на Дубенского, севшего ниже его одной ступенькой.

– Три телеграммы пришли... Одна даже на мое имя... Поэтому я и знаю... Первые две получены с нарочным вчера еще.

– Да ведь Арсений Кирилыч в городе?..

– От нас станция ближе... Оттуда прямо посылают...

– Значит, приспичило?

Дубенский взглянул на него с наморщенным лбом и выговорил слегка дрогнувшим звуком:

– Все по обществу... этому.

– По какому? По нефтяному делу?

– Именно.

– В правлении, поди, чего натворили? Кассир сбежал, али что? По нынешнему времени это самый обыкновенный сюрприз.

– Нет... видите ли...

Техник снял картуз и отер платком пот с высокого, уже морщинистого лба.

– Да вы, Петр Иванович, не думайте, пожалуйста, что я у вас выпытываю. Ни Боже мой!.. В деловые секреты внедряться не хочу... Но вам уже известно, что я у Арсения Кирилыча служил, много ему обязан, безусловно его почитаю. Следственно, к его интересам не могу быть равнодушен.

Глаза Теркина загорелись, и он, обернувшись к технику всем лицом, говорил теплыми нотами.

Тот накрылся, сделал громкую передышку и вытянул ноги.

– Вы ничего не читали в газетах? – неуверенно и опять с приподнятой бровью спросил он.

– Да я больше недели и газеты-то в руках не держал. Все на пароходах путаюсь, вверх и вниз.

– Тогда, конечно...

«Не речист ты, милый друг», – подумал Теркин.

– А нешто что-нибудь такое есть? Травля какая... Набат забили?

– Именно, именно... И так неожиданно. Подняли тревогу... Письма... Обличения... Угрозы...

– Угрозы? Чем же стращают и по какому поводу?

– Это... сложно... долго рассказывать... разумеется, в каждом акционерном предприятии, – щеки Дубенского начали краснеть, и глаза забегали, – какою целью задаются? На что действуют?... На буржуазную алчность. Дивиденд! Вот приманка!

– А то как же?

Вопрос Теркина прозвучал веско и серьезно.

– Да разве трудовым людям, – еще нервнее спросил Дубенский, – вот таким хоть бы, как вы и я, следует откармливать буржуев?

«Ну да, ну да, – думал Теркин, – ты из таких. Не уходился еще...»

– Не давать хорошего дивиденда, – выговорил он спокойно, – так и акции не поднимутся в цене, и предприятие лопнет. Это – буки-аз – ба.

– Конечно, конечно! Буки-аз – ба... Но есть предел... Можно... вы понимаете... можно, по необходимости, подчиняться условиям капиталистического хозяйства.

– Какого? – переспросил Теркин.

– Капиталистического... понимаете... буржуйного... Но если перепустить меру и... как бы сказать... спекулировать на усиленные приманки – это не обходится без... понимаете?..

«Без шахер-махерства», – добавил про себя Теркин.

– Понимаю, – протянул он вслух и сдунул пепел с папиросы.

– Ну, вот, – оживленнее и смелее продолжал Дубенский, – и надо, стало быть, усиленно пускать в ход все, что привлекает буржуя.

«Эк заладил, – перебил про себя Теркин, – буржуй да буржуй!»

– Это вы буржуем-то вообще состоятельных людей зовете? – спросил он с улыбкой.

– Представителей капиталистического хозяйства...

– Да позвольте, Петр Иванович, вы все изволите употреблять это выражение: капиталистическое хозяйство... И в журналах оно мне кое-когда попадает. Да какое же хозяйство без капитала?

Он хорошо понимал, куда клонит Дубенский, и сам не прочь был потолковать о том, как бы надо было людям трудовым и новым заводить, что можно, сообщая. Но его этот техник начал раздражать более, чем он сам ожидал. Такое «умничанье» считал он неуместным и двойственным в человеке, пошедшем по деловой части. Что хочется ему поскорее начать хозяйствовать – это естественно... Или общество устроить почестнее, так, чтобы каждый пайщик пользовался доходом сообразно своей работе, как, например, в том парходном товариществе, куда он сам вступает... А ведь этот Дубенский не в ту сторону гнет... Он, наверное, сочувствует затеям вроде крестьянских артелей из интеллигентов.

И Теркину вспомнился тут его разговор на пароходе с тем писателем, Борисом Петровичем. Он ему прямо сказал тогда, что считает такие затеи вредными. Там, в крестьянском быту, еще скорее можно вести такое артельное хозяйство, коли желаешь, сдуру или от великого ума, впрягать себя в хомут землепашца, а на заводе, на фабрике, в большом промысловом и торговом деле...

Дубенский не сразу ему ответил.

– Не в том вопрос... – начал он еще нервнее. – Без капитала нельзя. Но на кого работать?.. Вот что-с!.. У Арсения Кирилыча были совсем другие идеи... Он хотел делать рабочих участниками... вы понимаете?

– Понимаю!.. Это в виде процента, что ли?

– Именно.

– Против этого я не буду говорить... но опять не сразу же... Надо спервоначалу поставить дело на прочный фундамент...

– А вышло по-другому, – голос Дубенского упал, – совсем по-другому. Понадобились... я вам сказал... приемы... делчества... понимаете? И в этих случаях можно очутиться в общниках, не желая этого...

«Вот оно что! – подумал Теркин. – Видно, и тебя впутал хозяин-то!»

– О чем же, собственно, в газетах гвалт подняли? – спросил он строже и даже нахмурился.

– Мне, право... весьма неприятно излагать вам это... Конечно, тут есть какая-нибудь интрига...

– Подвох!.. Со стороны меньшинства? Или действительно проруха какая?

– Есть... к сожалению... и кое-что похожее на правду.

– Да неужто Арсению Кирилычу серьезные гадости предстоят? Преследование?

«Неладно, неладно», – прибавил Теркин про себя, и ему стало вдруг ясно, что он уедет отсюда с пустыми руками.

– Арсения Кирилыча вызывают безотлагательно. Надо сейчас же принять меры.

– Он – ума палата... В разных передрягах бывал... Да к тому же, как я его разумею, ничего бесчестного, неблагоприятного он на душу свою не возьмет... Не такой человек.

«А почему ты знаешь?» – поправил он самого себя.

И ему захотелось, забывая про неудачу своей поездки к Усатину, поглядеть на то, как Усатин поведет себя и во что именно завязил он одну ногу... а может, и обе.

– Очень, очень... все это прискорбно!

Возглас Дубенского отзывался большой горечью.

Теркин сбоку оглядел его и подумал:

«Какой ты техник, директор?... Тебе бы лучше книжки сочинять или общежития на евангельский манер устраивать».

– Да ведь вы – служащий... ваше дело сторона. Коли вы перед акционерами прямо не ответственные? – спросил Теркин, нагнувшись к Дубенскому.

– В настоящую минуту... весьма трудно ответить вам... вы понимаете... весьма трудно.

XXVIII

Загудевший вдали колокольчик прервал Дубенского.

– Это Арсений Кирилыч? – спросил Теркин.

– Он, он!

Оба встали и вернулись к наружному крыльцу с навесом и двумя лавками.

Там уже дожидалось несколько человек мелких служащих, все в летних картузах и таких же больших сапогах, как и Дубенский.

– Арсений Кирилыч едут, – доложил один из них технику и снял картуз.

Тот поблагодарил его наклоном головы.

– Он наверно в конторе побудет, – сказал Дубенский Теркину, пропуская его вперед.

Справа из сеней была просторная комната в четыре окна, отделанная как конторы в хороших сельских экономиях: серенькие обои, несколько карт и расписаний по стенам, шкапы с картонами, письменный стол, накрытый клеенкой, гнутая венская мебель.

Но и в ней стояла духота, хотя все окна были настежь.

– Здесь посидим или пойдем на крылечко? – спросил Теркин, не выносивший духоты.

Можно было еще кое-что повыведать у Дубенского. Но он не любил никаких подходов. Пожалуй, есть и какая-нибудь нешуточная загвоздка... Быть может, и ничего серьезного для кредита усатинской фирмы нет, а этот нервный интеллигент волнуется из-за личной своей щепетильности, разрешает вопрос слишком тревожной совести.

Но... газеты? Обличительный набат?... Положим, у нас клевета и диффамация самый ходкий товар, и на всякое чиханье не наздравствуешься... Однако не стали бы из-за одних газетных уток слать три депеши сряду.

Дубенский так был поглощен предстоящим объяснением с Усатиным, что не слышал вопроса Теркина и заходил взад и вперед по конторе.

Вопроса своего Теркин не повторил и присел к окну, ближайшему от крыльца.

Через две-три минуты показалась коляска вроде тарантаса на рессорах, слева из-за длинного амбара, стоявшего поодаль, по дороге из уездного города.

Сажень за тридцать острые глаза Теркина схватили фигуру Усатина. Он ехал один, с откинутым верхом и фартуком, в облаке темноватой степной пыли. Лошади, все в мыле, темно-бурой масти, отлично съезженные, широко раскинулись своим фронтом. Коренник под темно-красной дугой с двумя колокольчиками иноходью раскачивался на крупных рысах; пристяжные, посветлее «рубашкой», скакали головами врозь, с длинными гривами, все в бляхах и ремнях, с концами, волочившимися по земле. Молодой кучер был в бархатной безрукавке и низкой ямской шапке с пером.

«Ожирел, Бог с ним, Арсений Кирилыч, – подумал Теркин, продолжая оглядывать его. – Трехпудовый купчина... Барское обличье совсем потерял».

И в самом деле, Усатин даже в последние три месяца, – они виделись весной, – сделался еще тучнее. Тело его занимало все сиденье просторного фаянза, грузное и большое, в чесучовой паре; голова ушла в плечи, круглая и широкая; двойной подбородок свесился на рубашку; борода точно повывезла, такая же русая, как и прежде, без заметной на расстоянии седины; только острые темно-серые глазки прорезали жир щек и точечками искрились из-под крутых бровных орбит, совсем почти без бровей. Рот сохранял свою свежесть и сочность, с маленькими зубами. На все лицо ложилась тень от соломенной шляпы с вуалем на английский манер.

«Важно катит! – подумал Теркин, засмотревшись охотнички на тройку, и почувствовал приятное, чисто русское ощущение лихости и молодечества. – Важно!.. Кабы на таких же полных рысах и во всем прочем!»

И ему захотелось верить, что такой человек, как Арсений Кирилыч, не свихнется; что все эти газетные слухи просто «враки», и только такой «головастик», как Дубенский, может мучиться из-за подобных пустяков.

За несколько шагов до крыльца храп лошадей слышался явственно, и пыль, вздымаясь высокими клубами, совсем закрыла фигуру Усатина, когда он подъезжал к конторе.

Оба они, и Теркин, и Дубенский, вышли на крыльцо.

Усатин грузно вылезал, опираясь на руку одного из служащих. Первого увидел он Теркина.

– А!.. Василий Иванович!.. Вы как?...

Оклик, сделанный молодым, немного шепелявым голосом, показал Теркину, что Усатин забыл про их разговор в Москве и про то письмо, которое он писал ему на днях, извещая о своем приезде... Быть может, не получил его...

Они поздоровались.

– Мы вот с господином Дубенским рассудили перехватить вас, Арсений Кирилыч, по дороге в усадьбу. Пожалуй, отсюда прямо на чугунку укатите... Вас ждут депеши. С моим личным делом я повременю... А письма моего вы разве не получили?

– Какого письма?

– Из Ярославля я вам писал на той неделе?..

– Нет... Вы куда же адресовали?

– Да сюда, в усадьбу.

– Я больше недели мыкаюсь...

И, видя, что Дубенский с нервным лицом переминается с ноги на ногу, Усатин быстро повернулся в его сторону и не договорил.

– Петр Иванович?.. У вас, стало, что-нибудь экстренное?

– Три депеши, Арсений Кирилыч. Одна была на мое имя. Вот они.

Дубенский вынул из кармана три телеграммы и с дрожью в пальцах подал их.

– Из Москвы? – спросил Усатин.

Теркину показалось, что голос его дрогнул.

И, не раскрывая телеграмм, он обратился, все еще у крыльца, к служащим:

– Вам тоже к спеху?

– Как же, Арсений Кирилыч... – отвечал за всех стоявший впереди худой высокий малый, с длинной желтой бородой. – Насчет теперь...

Белой пухлой рукой Усатин сделал движение.

– Хорошо!.. Господа, я сейчас к вам... Только отпущу их... Пожалуйста в комнаты.

Теркин и Дубенский вернулись в контору, где Дубенский опять начал ходить взад и вперед.

– Послушайте... Петр Иванович, – окликнул его Теркин, стоя у двери.

– Что вам? – рассеянно отозвался Дубенский.

– Коли вам надо сейчас же объясниться с Арсением Кирилычем, я могу и в садик пойти.

– Нет... Зачем же... Вероятно, он сейчас поедет в усадьбу...

– Да ведь я вижу, Петр Иванович... вы сам не свой... Право, я лучше в садик выйду.

Теркин взялся за ручку двери, и только что он отворил ее – столкнулся на пороге с Усатиным.

– А вы куда? – звонко спросил тот, входя в контору и сняв шляпу.

Череп его совсем полысел, и только кругом в уровень ушей шла полоса русых, плотно остриженных волос с легкой проседью.

Депеш он еще не читал и держал их в другой руке.

– До вас у Петра Ивановича неотложное дело... Я на воздухе побуду.

– Да разве так приспичило, Дубенский?

– Вы депеши еще не прочли? – спросил техник с ударением.

– Сейчас, сейчас...

Теркину захотелось остаться посмотреть, изменится ли Усатин в лице, когда прочтет депешу.

Первую, уже распечатанную, пришедшую на имя Дубенского, Усатин раскрыл и пробежал.

– А! вот что! – глухо вырвалось у него. – Предполагаю, какого содержания остальные две... Господа... Едем. Я вскрыю эти депеши у себя в кабинете.

– Быть может, – начал Дубенский, – вам отсюда придется ехать на станцию.

– Нет, друг мой... я и без того измучился. Если нужно, я поеду завтра... да и то... Я знаю тех... московских. Сейчас голову потеряют.

Глаза его перебежали от Дубенского к Теркину... Лысина была влажная. Нос, несколько вздернутый и тонкий – на таком широком и пухлом лице, – сохранял свое прежнее характерное выражение.

– Едемте, господа... И первым делом выкупаемся.

Еще раз пробежал он депешу и наморщил лоб.

Но двух остальных он так и не вскрыл.

«Малодушие закралось, – подумал Теркин, – чувствует что-нибудь очень невкусное...»

Но вера в этого человека еще не дрогнула в нем. И желание отвести ему беду зашевелилось в его душе.

XXIX

В гостиной, с дверью, отворенной на обширную террасу, было свежее, чем на воздухе. Спущенные шторы не пропускали яркого света, а вся терраса стояла под парусинным навесом.

Теркин оглядывал комнату – большую, неуютную, немножко заброшенную. Мебель покрывали чехлы. Хозяйского глаза не чувствовалось. Правда, семейство Усатина за границей. Но все-таки было что-то в этой гостиной, точно предвещавшее крах.

Усатин, когда они приехали, провел Дубенского в кабинет. Голоса их не доносились в гостиную, да Теркин и не думал прислушиваться... Объяснение затянулось. Он закурил уже третью папиросу.

Дверь из кабинета выходила тоже на террасу, за углом.

Заслышался наконец гул разговора. По террасе шли Усатин и Дубенский. Они остановились в глубине ее, против того кресла, где сидел Теркин.

Теркин ерошил волосы и двигался боком, заслоненный обширным туловищем Усатина. И на лице Арсения Кирилыча Теркин тотчас же распознал признаки волнения. Щеки нервно краснели, в губах и ноздрах пробегали струйки нервности, только глаза блестели по-прежнему.

– Как знаете! Я вас не желаю насильно удерживать, – дошли до слуха Теркина слова Арсения Кирилыча, – но не следовало, милый мой, так рано труса праздновать!..

Он обернулся в сторону открытой настежь двери и увидал Теркина.

– Значит, вы сейчас обратно? – резче спросил он вслед за тем Дубенского.

Тот что-то пробормотал и торопливо протянул руку, сделал два шага по террасе назад, потом повернул и прошел гостиной, чтобы проститься с Теркиным.

– Перетолковали? – спросил Теркин.

– Да-с... Я еду... сейчас... Очень жаль, что не удалось...

Дубенский не договорил, стиснул руку Теркина и быстро зашагал к двери в переднюю. Волосы его были в беспорядке, все лицо влажное.

– Ну, будьте здоровы!

Свое пожелание Теркин пустил ему вслед стоя.

– А!.. – окликнул его сзади Усатин. – Вот это чудесно! Какая прохлада! Мы здесь и закусим... В столовой наверно духота... Только еще рано... Мы посидим, потолкуем... Не угодно ли на диван?

Он взял Теркина за плечо и повел его к низкому дивану у одной из внутренних стен.

– Вот сюда... Позвольте раскурить о вашу папиросу.

Они расселись... Усатин закурил и раскинулся по спинке дивана.

– У-ф!.. – выпустил он воздух звонкой нотой.

– Вам, Арсений Кирилыч, наверно, не до меня и не до моих дел, – начал Теркин искренно и скромно. – Что-то у вас такое стряслось...

– Вы знаете? Из газет?

Вопрос Усатина зазвучал резко.

– Нет, от господина Дубенского... я кое-что...

– Тосподин Дубенский, – прервал уже раздражительнее Усатин, – как я ему сейчас на прощанье сказал, слишком скоро труса празднует.

Он ударил себя по ляжке и переменял положение своего грузного тела.

– Удивительное дело!.. Кажется, я всем таким господам, как милейший Петр Иванович, давал и даю ход. Без моей поддержки ему бы не выбраться из мизерии поднадзорного прозябания.

– А господин Дубенский из нелегальных был?

– Помилуйте!.. И как еще!.. Теперь он директор значительного завода. Пять тысяч жалованья и процент. Во мне было достаточно времени увериться. Я никого из работающих со мною не подведу.

– Вы-то!

Это восклицание вылетело у Теркина задушевной нотой.

– Только со мной идти надо вперед смело, не бояться риска, временных заклепок, подвохов, газетной брехни, всяких дешевых обличений, даже прокурорского надзора... на случай доносов...

– А нешто до этого дошло, Арсений Кирилыч? вполголоса спросил Теркин, слегка нагнувшись к Усатину.

– Дошло ли?!

Усатин прищурился на Теркина и мотнул головой.

– Донос, наверно, сделан на днях... В обеих депешах говорится про это.

И, как бы спохватившись, он перебил себя восклицанием:

– Я знаю и чувствую, откуда это идет. За все свое прошлое приходится отвечать теперь, Теркин... Ведь вашего отца, сколько я помню, его односельчане доконали?

В Сибирь сослали, – подсказал Теркин.

За что?

Смутьян, вишь, был... Правду всем в глаза говорил.

– А я весь свой век ворочал делами и в гору шел, не изменяя тому, что во мне заложили лучшие годы, проведенные в университете. Вот мне и не хотят простить, что я шестидесятыми годами отзываюсь, что я враг всякой татарской надувастики и рутины... И поползли клопы из всех щелей, – клопы, которым мы двадцать лет назад пикнуть не давали. А по нынешнему времени они ко двору.

– Верно, верно, Арсений Кирилыч.

– Такие клопы – мерзкая гадина, и надо ее истреблять персидским порошком, а не трусить... Вы, наверное, в газетах уже читали...

– Ей-ей, не читал, Арсений Кирилыч. Я уже говорил господину Дубенскому, что больше недели листка в глаза не видал.

– Тем лучше!.. Гнусная интрига, направленная против меня. Я вам за завтраком расскажу в общих чертах... Разумеется, если все, кто у меня служит, будет так же щепетилен и слаб душою, как господин Дубенский, не мудрено под каждое дело подкопаться.

Видно было, что на техника он в сильных сердцах и должен излить сначала все, что у него накопело внутри.

– Помилуйте! – закричал он и подвинулся к Теркину. – Вы заведуете технической частью в акционерном деле, вы прямо не замешаны, не значите ни членом правления, ни кассиром, и вдруг, оттого, что дело связано, между прочим, и с производством, по которому мы давали свою экспертизу, вы сейчас – караул! И готовы стать на сторону тех, кто строчит доносы и бьет набат в заведомо шантажных газетчонках!.. Все это, чтобы выгородить свое цивическое целомудрие, ха, ха!..

Усатин быстро поднялся и заходил по гостиной.

В первый раз видел Теркин такую раздраженность в своем бывшем хозяине.

Но он с ним был согласен, хотя и не знал, из-за чего Дубенский «выгораживал» себя на случай истории по акционерному обществу. Усатин, наверно, расскажет ему, в чем дело, не теперь, так позднее. Несомненно, однако ж, что минута для займа двадцати тысяч неподходящая, и лучше будет первому не заводить об этом речи.

– Теркин! – заговорил опять Усатин, подойдя плотно к дивану. – Вы у меня переночуете?

– С удовольствием, Арсений Кирилыч.

– Перед завтраком мы съездим выкупаться... Вы мне писали... по делу... я ведь, батюшка, не нашел вашего письма. Теперь я вспомнил наш разговор в «Славянском Базаре»... Вам кредит нужен?

– Точно так.

– Приблизительно на какую сумму?

Глаза Усатина заиграли. В их что-то промелькнуло, какое-то мгновенное соображение.

– Тысяч на двадцать.

– Эх, милый мой! И зачем вы у меня тогда не попросили прямо в Москве?.. Я бы тогда и сорок дал... – Хотел сам извернуться. – Да вы мне напомните, в чем дело.

Теркин кратко и деловито рассказал ему про своего «Батрака».

– Так!.. Ну, тут можно и без залога обойтись... Дайте мне срок, какую-нибудь неделю, все наладить в Москве, тогда мы и это уладим.

– Ой ли? Арсений Кирилыч! – радостно вскрикнул Теркин и поднялся.

Глаза Усатина продолжали играть. Он что-то обдумывал.

– Поедьте купаться на реку... а там поедим и еще обширно перетолкуем.

XXX

До рассвета не мог заснуть Теркин наверху, в той комнате, которую отвел ему нарядчик Верстаков.

Такого душевного переполоха давно не случалось с ним.

Только к концу раннего обеда, когда Арсений Кирилыч велел подать домашней водянки и старого коньяку, стало ему вдомек, к чему подбирается его бывший хозяин.

– Вы сами знаете, Теркин, – начал Усатин другим тоном, спокойнее и задушевнее, – крупные дела не делаются без некоторых компромиссов.

Не сразу уразумел он, на чем произошла «заминка» в новом акционерном предприятии, пущенном в ход Арсением Кирилычем. Как он ни прикрывал того, что стряслось в Москве, своей диалектикой, но «уголовщиной» запахло.

Появились разоблачения подставных акционеров и дутого дивиденда, растраты основного капитала и фиктивной цены акций, захваченных на две трети Усатиным и его подручными. Можно было весьма серьезно опасаться вмешательства администрации и даже прокурорского надзора.

И как Усатин ни замазывал сути дела, как ни старался выставить все это «каверзой», с которой легко справиться, Теркин распознал, что тот не на шутку смущен и должен будет прибегнуть к каким-нибудь экстренным мерам, разумеется, окольными путями.

Прежде чем Усатин заговорил о «маленькой услуге» он уже подумал:

«Будет меня пытаться и предложит нелегальную сделку».

– Риск пустой, – сказал Усатин, подбадривая его своими маслянистыми глазками. – А вы мне покажете, Теркин, что добро помните... И я вам даю слово – в одну неделю уладить ваше дело по уплате за паромход... на самых льготных для вас условиях.

Конечно, если верить в звезду Арсения Кирилыча и рискнуть, то можно даже примоститься к делу, буде оно пойдет опять полным ходом, заставить заплатить за себя двадцать тысяч, которых даром никто не даст... Но придется за это впутать себя в целую «махинацию», взять с Усатина дутых векселей на сотню тысяч и явиться подставным владельцем не одного десятка акций.

И Усатин не сделает этого, не заручившись документами, покрывающими его фиктивный долг, такими же дутыми. Кто говорит! Это сплошь и рядом делается во всяких банках, обществах, ликвидациях и администрациях.

Уходя спать, Теркин сказал Усатину:

– Утро вечера мудренее, Арсений Кирилыч, позвольте мне все обсудить... Слишком уж внезапно все это налетело на меня.

На что тот сказал ему:

– Только завтра за чаем вы мне ответите: да или нет. Мне надо взять поезд в час дня, и в случае вашего согласия мы двинемся вместе в Москву.

До рассвета он провозился в постели, перебирал на всякие лады: может он или нет пойти на такое дело, и кончил тем, что решил уклониться, хотя бы задержка в отыскании двадцати тысяч испортила все его расчеты.

Это решение не успокоило его... Он начал добираться до глубины своих побуждений.

Из благородного ли оно источника вытекло?.. Честность ли это?.. Или просто сметка, боязнь влопаться в уголовное дело?..

Кажется, больше второе, чем первое. И такая оценка своей совести огорчила его чрезвычайно... Даже пот выступил у него на лбу.

«Стало быть, – пытал он себя, – будь я уверен, что все останется шито-крыто, иди предприятие Усатина ни шатко ни валко, не поднимай никто тревоги в газетах, я бы, пожалуй, рискнул помочь ему в его делеческих комбинациях, предъявил бы, когда нужно, дутые документы и явился бы на общее собрание с чужими акциями?»

И на этот вопрос он не мог почему-то ответить себе:

«Нет, ни под каким видом!»

Арсения Кирилыча он любил, готов был оказать для него услугу... Так почему же он отказывается теперь, когда тому грозит прямая беда?..

На это он отвечал сначала, что Усатин «покачнулся», а с этим и его вера в него... Значит, он уж не прежний Арсений Кирилыч. Тот ни под каким видом не стал бы подстроивать такую «механику».

А кто его знает?.. Может, он и прежде способен был на то же самое, да только пыль в глаза пускал, всех проводил, в том числе и его, простофилю.

«Нужды нет, – оправдывал себя Теркин, – если он и проводил меня, я-то сам честно верил в него, считал себя куда рыхлее в вопросах совести, а теперь я вижу, что он на то идет, на что, быть может, я сам не пошел бы в таких же тисках».

«Почем ты знаешь?» – вдруг спросил он самого себя, и в груди у него сразу защемило... Уверенности у него не было, не мог он ручаться за себя. Да и кто может?.. Какой делец, любитель риска, идущий в гору, с пылкой головой, с обширными замыслами?

Как может он огрaдить самого себя, раз он в делах да еще без капитала, с плохим кредитом, от того, что не вылетит в трубу и не попадет в лапы прокурорского надзора?..

С каждым пятью минутами он все больше и больше запутывался, после того, как пришел к твердому выводу: на посулы Усатина не идти.

– Этакая ерунда! – произнес он вслух, скинул с себя одеяло и встал.

Дольше он не желал терзать себя, но в душе все-таки оставалось неясным: заговорила ли в нем честность или только жуткое чувство уголовной опасности, нежелание впутаться в темное дело, где можно очутиться и в дураках?

Он поднял штору, открыл окно и поглядел на даль, в сторону берега, где круто обрывался овраг. Все было залито розовым золотом восхода... С реки пахнуло мягкой прохладой.

Тотчас же, не умываясь, он присел к столу, достал из своего дорожного мешка бумаги и конверт и быстро написал письмо Арсению Кирилычу, где прямо говорил, что ему трудно будет отказываться и он просит не пенять на него за то, что уехал, не простившись, на пароходную пристань.

Одевшись, он сошел тихонько вниз и разбудил Верстакова, который спал в комнате возле передней.

Верстаков, когда узнал, что он хочет уехать через час и нужно ему запрячь лошадь, почему-то не удивился, а, выйдя на крыльцо, шепотом начал расспрашивать про «историю». Всем своим видом и тоном нарядчик показывал Теркину, что боится за Арсения Кирилыча чрезвычайно, и сам стал проговариваться о разных «недохватках» и «прорехах» и по заводу, и по нефтяному делу.

– Батюшка, Василий Иванович, – просительно кончил он, придя за вещами Теркина в его комнату, – позвольте на вас надеяться. Признаться вам по совести, ежели дело крякнет – пропадет и мое жалованье за целых семь месяцев.

– Неужто не получал? – спросил удивленно Теркин.

– Ей-же-ей!.. Вам я довольно известен... На что гожусь и на что нет... Вы теперича сами хозяйствовать собираетесь... не оставьте вашими милостями!

Этого нарядчика, еще не старого, юркого, прошедшего хорошую школу, он знал, считал его не без плутоватости, но если бы ему он понадобился, отчего же и не взять?

«Чего тут? – поправил он себя. – Ты сначала кредит-то себе добудь да судохозяином сделайся!»

– Хорошо! – ответил он вслух и пристально поглядел на сухую жилистую фигуру и морщинистое лицо Верстакова, ловко и без шума снарядившего его в дорогу.

– Чаю не угодно? Значит, Арсения Кирилыча не будить?

– Ни под каким видом. Только письмо ему подать. А чаю я напьюсь на пароходе.

У крыльца стояла долгуша в одну лошадь. Верстаков вызвался и проводить его до станции, да Теркин отклонил это.

«Немножко как будто смахивает на бегство, – подумал он про себя по пути к пристани. – И от чего я бегу? От уголовины или от дела с дурным запахом?»

И на этот вопрос он не ответил.

XXXI

– Позвольте вам сказать... Капитан не приказывает быть около руля.

С этими словами матрос обратился к Теркину, стоявшему около левого кожуха на парохде «Сильвестр».

– Почему так? – спросил он и нахмурился. – Везде пассажиры первого класса имеют право быть наверху.

– Вон там не возбраняется.

Матрос указал на верхнюю палубу, обширную, без холщового навеса. Она составляла крышу американской рубки, с семейными каютами.

И он прибавил:

– Наше дело подневольное. Капитан гневаются.

Теркин не хотел поднимать истории. Он мог отправиться к капитану и сказать, кто он. Надо тогда выставляться, называть свою фамилию, а ему было это неудобно в ту минуту.

– Ну, ладно, – выговорил он и вернулся на верхнюю палубу, где посредине шел двойной ряд скамеек, белых, как и весь пароход.

Ему не хотелось выставляться. Он был не один. С ним ехала Серафима. Дня за три перед тем они сели на этот пароход ночью. Она ушла от мужа, как только похоронили ее отца, оставила письмо, муж играл в клубе, – и взяла с собою один чемодан и сумку.

Третий день идут они кверху. Пароход «Сильвестр» – плохой ходок. Завтра утром должны быть в Нижнем. Завечерело, и ночь надвигалась хмурая, без звезд, но еще не стемнело совсем.

Во все эти дни Теркин не мог овладеть собою.

Вот и теперь, ходя по верхней палубе, он и возбужден, и подавлен. Ему жутко за Серафиму, не хочется ни подо что подводить ее. Нарочно он выбрал такой пароход: на нем все мелкие купцы, да простой народ, татары. Пассажиров первого класса почти нет. Занял он две каюты, одна против другой. Серафима хотела поместиться в одной, с двумя койками; он не согласился. Он просил ее днем показываться на палубе с опаской. Она находила такую осторожность «трусостью» и повторяла, что желает даже «скандала», – это только поскорее развяжет ее навсегда.

Уже на второй день поутру начало уходить от Теркина то блаженное состояние, когда в груди тает радостное чувство; он даже спросил себя раз:

«Неужли выше этого счастья и не будет?»

Однако женщина владела им как никогда. Это – связь, больше того, – сообщничество. «Мужняя жена» бежала с ним. В его жизнь клином вошло что-то такое, чего прежде не было. Он чувал, что Серафима хоть и не приберет его к рукам, – она слишком сама уходила в страсть к нему, – но станет с каждым днем тянуть его в разные стороны. Нельзя даже предвидеть, куда именно. И непременно отразится на нем ее существо, взгляды, пристрастия, увлечения, растяжимость «бабьей совести», – он именно так выражался, – суетность во всех видах.

Досадно было ему думать об этом и расхолаживать себя «подлыми» вопросами, сравнениями.

Взгляд его упал на группу пассажиров, вправо от того места, где он ходил, и сейчас в голове его, точно по чьему приказу, выскочил вопрос:

«А нешто не то же самое всякая плотская страсть?»

Спинами к нему сидели на одной из скамеек, разделявших пополам палубу, женщина и двое мужчин, молодых парней, смахивающих на мелких приказчиков или лавочников.

На женщину он обратил внимание еще вчера, когда они пошли от Казани, и догадался, кто она, с кем и куда едет.

Ей было уже за тридцать. Сразу восточный наряд, – голову ее покрывал бархатный колпак с каким-то мешком, откинутым набок, – показывал, что она татарка. Шелковая короткая безрукавка ловко сидела на ней. Лицо подрумяненное, с насурмленными бровями, хитрое и худощавое, могло еще нравиться.

Теркин признал в ней «хозяйку», ездившую с ярмарки домой, в Казань, за новым «товаром».

И товар этот, в лице двух девушек, одной толстой, грубого лица и стана, другой – почти ребенка, показывался изредка на носовой палубе. Они были одеты в шапки и длинные шелковые рубахи с оборками и множеством дешевых бус на шее.

Ему и вчера сделалось неприятно, что они с Серафимой попали на этот пароход. Их первые ночи проходили в таком соседстве. Надо терпеть до Нижнего. При хозяйке, не отказывавшейся от заигрывания с мужчинами, состоял хромой татарин, еще мальчишка, прислужник и скрипач, обычная подробность татарских притонов.

Эта досадная случайность грязнила их любовь.

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «Литрес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на Литрес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.